

Лажечников И. И. «Беленькие, чёрненькие и серенькие» //Издательский дом "Лига", Коломна, 2010
ISBN: 978-5-98932-014-1
FB2: "OAR", 11 October 2013, version 1.0
UUID: 19B60457-A917-4E78-8AB8-7D51EDA96428
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Иванович Лажечников

Беленькие, черненькие и серенькие

Повесть И. И. Лажечникова «Беленькие, чёрненькие и серенькие» (1856) — хроника уездного городка Холодны, в котором узнаётся Коломна на рубеже XVIII — XIX веков. Знаменитый автор исторических романов соединил здесь семейные предания с гротесковой сатирой и любовной идиллией, колоритно изобразил провинциальные нравы. Книга снабжена комментариями, помогающими ей предстать перед современными читателями своеобразной «энциклопедией староколоменской жизни».

Текст публикуется по печатному изданию.

Лажечников, И. И. «Беленькие, чёрненькие и серенькие» / Вступительная статья, подготовка текста, комментарии В.Викторовича и А. Бессоновой; художник П. Зеленецкий. — Коломна: Лига, 2010. — 304 с.: илл. — (Серия «Коломенский текст»).

Автор и руководитель проекта «Коломенский текст» — В. А. Викторovich

Издание осуществлено при поддержке

НП «Город-Музей»

НП Культурный центр «Лига»

ISBN 978-5-98932-014-1

Содержание

Душа Коломны	0005
Беленькие, черненькие, серенькие	0030
#1	0030
ТЕТРАДЬ I В СТАРОМ ДОМЕ	0033
ТЕТРАДЬ II ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ ЛИЧНОСТИ	0099
ТЕТРАДЬ III СОЛЯНОЙ ПРИСТАВ И ЕГО ДОЧЬ	0172



**Иван Иванович Лажечников
Беленькие, черненькие и
серенькие**

Душа Коломны

*Кто же лучше всего
сможет выразить образ города,
как не художник, и, может быть,
лучше всего художник слова?
Н. П. Анциферов,
«Душа Петербурга»*

Города, как и люди, имеют душу. Она являлась первым поселенцам и указывала место осёдлости. Историки обычно полагают, что выбор места зависел от прагматических соображений: удобства обороны, торговли, промыслов... Однако, если оглянуться вокруг, можно уловить нечто эфемерное, что могло повлиять на окончательное решение. Красота покоряла сердца и останавливала дальнейшие поиски. Так говорил с нашими предками «дух местности». Он подчинял себе дерзания градостроителей, и веками складывалась гармония подаренного природой и созданного человеком пространства. Чтобы распознать эту гармонию, приходили мастера-художники, живописцы и поэты... Через них что-то пытается сказать нам и сегодня Душа города.

Возможно, образ есть самое удобное средство такого сообщения. Словесный же образ среди всех других — самый «вместительный». Так я понимаю высказывание Н. П. Анциферова, вынесенное в эпиграф. Не случайно с недавнего времени в отечественном литературоведении получил бытование термин «петербургский текст». Образ Северной Пальмиры в русской литературе, конечно, уникален, однако следует заметить, что Петербург, при всей исторической и эстетической компрессии, им совершённой с XVIII до XIX века, не мог говорить за всю Россию. Начиная с Пушкина и Гоголя, настойчиво звучала тема русской провинции. Отечественная литература создала колоритный и противоречивый образ провинциального города. Внутри этого большого текста сформировалась одна из малых его составляющих — *коломенский текст*.

В культурной памяти живёт Коломна, какой её увидели Адам Олеарий и Павел Алеппский, Николай Карамзин и Николай Иванчин-Писарев, Иван Лажечников и Никита Гиляров-Платонов, Борис Пильняк и Александр Чаянов, Иван Соколов-Микитов и Анна

Ахматова...

Задача издательской серии «Коломенский текст», первую книгу которой вы держите в руках, — собрать воедино (иногда спасти от забвения) произведения, в коих живёт душа старинного русского города. Следует очистить замечательные страницы от накопившихся искажений (опечатки, цензурная правка, невежество или предубеждения издателей), а также приблизить к современному читателю с помощью комментариев.

* * *

Начинает серию повесть И. И. Лажечникова «Беленькие, чёрненькие и серенькие», имеющая ключевое значение для формирования коломенского текста.

Уроженец Коломны Иван Иванович Лажечников (1790 — 1869) ещё в пушкинские времена прославился своими историческими романами, где оживала эпоха Петра Великого («Последний Новик»), Анны Иоанновны («Ледяной дом»), Ивана III («Басурман»). Эпизодически возникал в них образ старинного подмосковного города, оставленного автором в 1812 г. Последний из перечисленных романов

вышел в 1838 г., и затем наступил долгий период молчания, изредка прерываемый то незавершёнными прозаическими отрывками, то малоудачными драматическими опытами. Только в 1853 г., на пороге иной литературной и общественной эпохи публикацией автобиографического очерка «Новобранец 1812 года» начался новый подъём творчества Лажечникова. Теперь русская история предстала как собственный опыт автора, свидетеля и участника её важнейших событий. Естественно, на передний план вышел образ родного города, куда Лажечников совершал теперь свои «сентиментальные путешествия», реальные и литературные.

В мае — июле 1856 г. журнал «Русский вестник» напечатал «исполненные живейшего интереса заметки о старом времени так долго молчавшего знаменитого романиста нашего И. И. Лажечникова». Представленная таким образом читателям повесть «Беленькие, чёрненькие и серенькие» соседствовала на страницах журнала, с одной стороны, с «Семейной хроникой» С. Т. Аксакова, а с другой — с «Губернскими очерками» М. Е. Салты-

кова-Щедрина. По существу, между двумя этими полюсами пореформенной эпохи и расположилось произведение Лажечникова. Автор попытался соединить примиряющую эпiku Аксакова и сатирическую сокрушительность Щедрина, представлявших две ведущие тенденции новой русской литературы — утверждение и отрицание. В результате получилось произведение во многом экспериментальное и переходное, как, впрочем, и породившая его эпоха. Забегая вперёд, отметим, что подобным экспериментированием — жанровым, языковым, идейным — сопровождалась и дальнейшая жизнь коломенского текста.

Жанровая пестрота бросается в глаза при чтении «Беленьких, чёрненьких и сереньких». Автор определил своё произведение как временник, т.е. повременная запись случившегося от конца XVIII века в городе Холодне (такой созвучный псевдоним носит здесь реально узнаваемая Коломна), некий аналог древним летописным сводам. Слышен голос свидетеля и участника описываемых событий Вани Пшеницына и, из другого времени,

голос издателя Ваниных тетрадей (приём, напоминающий пушкинские «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»). В то же время название повести акцентирует своеобразный реестр городских жителей: чтущие добродетель «беленькие», творящие зло «чёрненькие» и расположившиеся между ними «серенькие».

Панораму мозаичных картин города и портретов горожан начинает глава («тетрадь») «В старом доме», целиком построенная на автобиографических мотивах: в Иване Максимовиче Пшеницыне и его близких легко узнаются сам автор и члены купеческого рода, из которого он вышел. Пшеницыны — такая же «низовая», «промысловая» фамилия, как и Ложечниковы (именно так, через «о» именовались предки писателя), намекающая на род занятий: Ложечниковы были известные коломенские хлеботорговцы. Писатель донёс до нас картинные подробности противоречивого быта провинциального купечества. Посреди жуирующих и жирующих пенкоснимателей являются умные, предприимчивые и независимые труженики, «честные

Чичиковы», о которых мечтал Гоголь. Своей собственное им чувство человеческого достоинства и даже гордость, принимаемая иными за чванство, оплачены их реальным вкладом в процветание России.

«Старый дом», упомянутый в заглавии первой тетради, — прадедовский дом в Запрудях (в повести сохранено старинное название коломенской слободы — Запрудье), где родился писатель и с которым связаны первые детские впечатления. Реальное место дома можно определить путём сопоставления топографических координат «Беленьких, чёрненьких и сереньких» с архивными планами Коломны конца XVIII века. На так называемом «Проектированном плане города Коломны» 1780-х годов (хранится в Российском государственном архиве древних актов) обозначен кожевенный завод Ложечниковых в квартале между московской дорогой и нынешней Малой Запрудной улицей. Дом Ложечниковых, судя по описи усадьбы, стоял рядом с упомянутым заводом. От дома, как пишет И. И. Лажечников, был виден Бобренев (в повести Бав) монастырь в просвет между заводом и

мельницей на реке Коломенке (в повести Холодянке). С другой стороны дома, за московской большой дорогой, начинались поля и давший название всей местности пруд, уже засохший и обросший вековыми липами. Планы XVIII века это также подтверждают. Очевидно, старый дом Ложечниковых располагался в районе нынешней набережной реки Коломенки, где теперь возвысились «ново-русские» коттеджи.

Узнаваемы многие архитектурные и природные детали городского пейзажа, запечатлённые в повести Лажечникова. Как не узнать, к примеру, дивный фокус коломенского Москворечья: «Прямо из лугов выбегает широкая река, идёт распахнувшись на город и вдруг, остановленная берегом, на котором держится старый Кремль, поворачивает углом под плавучий мост, через неё перекинутый».

Коломна-Холодня, по тонкому ощущению Лажечникова, город ландшафтный, сохранивший свойственную малым городам коренную связь с окружающей средой.

Как славно, думаем мы, что у малолетнего

Вани оказался наставником дядька Ларивон — чуткий проводник в мир природы. Заметим, кстати, что к красотам коломенским привязаны у Лажечникова только его «беленькие» герои. Ларивон и нянька Домна вводят ребёнка и в мир народной фантазии — холоденских легенд, сказок, песен. Интересно, что этих двух спутников своего детства Лажечников почти не переименовывал: в автобиографии, записанной с его слов Ф. В. Ливановым, упоминаются дядька Ларион и нянька Домна.

Завершающее событие первой тетради — строительство нового дома Пшеницыных «на Московской большой улице, против Иоанна Богослова». Ныне это одна их архитектурных и культурных доминант, организующих исторический центр Коломны — Дом Лажечникова, где недавно открылся музей писателя. К его трудной и далёкой от завершения судьбе приложим тот же эпитет, которым Лажечников наградил историю строительства дома — «тревожная».

Вторая тетрадь «Замечательные городские личности» заставит современного читателя

не раз вспомнить язвительные эскапады Салтыкова-Щедрина. Только надо учесть, что Лажечников не повторял великого сатирика, а *предшествовал* ему. Так, особенно замечательна галерея градоначальников от робкого Насона Моисеича к умеренно-хваткому Модесту Эразмовичу и к совсем уже разбойному Герасиму Сазонычу. Желчная версия «исторического прогресса», представленная эволюцией градоначальников в щедринской «Истории одного города», в первом приближении (воздадим должное!) была явлена в русской литературе именно в повести Лажечникова.

И как! Оцените иронию стиля: «Расходы просителей и вообще граждан получили быстрое развитие и преуспеяние». О блюстителях закона: «их отличали не по уму и честности, а по степени огня в крови». О прочих: «Пили очень много, но с патриотизмом». Опережающие «щедринизмы» Лажечникова объясняются прежде всего тем, что у обоих писателей был общий предшественник — гений русского смеха Н. В. Гоголь. А ещё, конечно, тем, что Лажечников как писатель ощущал необходимость дать адекватный художе-

ственный ответ надвигающейся эпохе «бесстыдства» (по определению Щедрина, сравните рассуждения Лажечникова о слове «стыд»). Так, для описания провинциального беспредела автор подбирает краски гротесковой фантазмагии: «То появлялся оборотень, который по ночам бегал в виде огромной свиньи, ранил и обдирал клыками прохожих; то судья, в нетрезвом виде, въезжал верхом на лошади и без приключений съезжал по лесам строившегося двухэтажного дома».

Не исключено, что у холоденских царьков и их ненасытной челяди были реальные прототипы. Можно припомнить корреспонденцию «Из Коломны» в сатирическом журнале Н. И. Новикова «Трутень» (23 июня 1769 г.) о судье, выведенном под говорящим именем «Забылчесть», или, почти через век, заметку в герценовском «Колоколе» о «подвигах» коломенского предводителя Скорнякова. Однако не забудем, что лажечниковская Холодня — обобщённый образ уездного города, и автора питали не одни коломенские впечатления. Он проделал большой путь по чиновной лестнице, дослужившись до вице-губернатора,

так что не только секреты российского бизнеса, но и тайны отечественной бюрократии были ему знакомы не понаслышке.

Оголтелость чиновного люда и сонная одурь «кейфующих» городских обывателей — такова безрадостная рутина погружающейся во мрак провинциальной Холодни-Коломны. Щедрин пошёл до конца в разоблачительстве подгнивающих устоев русского бытия, и оно показательно рухнуло в «Истории одного города». Лажечников кинулся отыскивать более прочные опоры и обратился... к беленьким героям города-мира. Недаром его так увлекло направление, заданное Гоголем во втором томе «Мёртвых душ», в особенности завершительная речь губернатора о возможной гибели русской земли, обращённая ко всем, «кто имеет понятие какое-нибудь о том, что такое благородство мысли».

Исцеления русских болезней Гоголь ждал не от «внешних» перемен (административных, политических, тем паче насильственно-революционных), а от «внутренних»: всё решает нравственный климат в обществе (тот же губернатор в своей речи советует под-

чинённым раскрыть забытую ими Библию). Обновиться должен сам человек, следуя своему высшему предназначению. В этом Лажечников — полный единомышленник Гоголя. В его повести «беленькие» герои, живущие по христианским понятиям, находятся в разных общественных слоях: слуги Ларивон и Домна, соляной пристав и его дочь, предводитель дворянства Подсохин, помещик Волгин. Их, увы, немного, но, вероятно, достаточно, чтобы Холодня избегла участи истреблённого Божьим гневом Содома. В этом библейском городе, обратившемся в дым, как сказано в книге Бытия, не нашлось десяти праведников, ради которых Господь был готов сохранить город. Любопытно, что эта библейская история сопровождает изображение Коломны на иконе XIX века (фотокопия её хранится в Музее архитектуры им. А. В. Щусева). Неизвестно, видел ли эту коломенскую икону Лажечников, но идея спасительности нравственной «белизны» растворена в воздухе созданной им Холодни.

Третья тетрадь «Соляной пристав и его дочь» концентрирует в себе эти упования ав-

тора. Занимательная история любви, одолевшей все преграды (Лажечников предложил русскую версию «Джен Эйр» Ш. Бронте) должна доказать читателю, как радостно жить по законам добра. И вот уже уходят во тьму все мерзости Холодни, и в ярком солнечном луче выступает праздничный город. Не случайно дом соляного пристава, как несложно вычислить (см. Комментарии), находится на излюбленном коломенцами «Блюдечке». Город — не надутая старая или новая знать, не живущая своею корыстью власть — но именно Город, душа его отплачивает, чем может, своим «беленьким» жителям.

В третьей тетради Лажечников круто поворачивает повествование в тихую заводь *идиллии*. На этот жанр указывает вступительное описание места действия: живописные развалины крепости, ухоженный садик, чудный вид на Москву-реку. Здесь же открыточная картинка, словно предваряющая главный сюжет: бедный рыбак причаливает утлый чёлн к берегу, где его жена, «присев на доску, стала кормить ребёнка своею грудью, на которую из-под клочка паруса упал солнечный луч.

Целая идиллия!..» Идиллический мотив поддерживает «голубиная» фамилия человека «аркадской простоты», хозяина дома — Горлицын и прозвища его старых, преданных слуг — Филемон и Бавкида. Автор вполне сознательно, не боясь насмешек (а они не замедлили себя ждать) настаивал на жизнеспособности идиллического жанра. Идиллия в его глазах — не беспочвенная утопия, но изображение *возможной гармонии* человеческого существования. То, что этот жанр не исчерпал себя несмотря на весь трезвый позитивизм прагматического века, доказывают обращения к нему «реалистов» Гончарова, Достоевского, Лескова, Л. Толстого...

Идиллическое начало коломенского текста мы находим у Адама Олеария, который в «Описании путешествия в Московию...» (1674) рассказывает, как быстро собравшаяся на плавучем мосту толпа любопытных коломенцев с готовностью разобрала часть моста, чтобы высокая «заморская» ладья (изготовленная, впрочем, в Дединове) смогла проехать дальше по Москве-реке. Жители «весёлых местностей» чрезвычайно приглянулись пу-

тешественникам, и один из спутников Олеария немецкий поэт Пауль Флеминг пришёл даже в восторг:

Так, значит, здесь сошла ты в наше поколение,
Святая простота, святое украшение,
Ушедшее от нас? Так, значит, вот страна,
Что честью, правдою и до сих пор полна?

Скорее всего, это преувеличение, но ведь было же что-то в наших предках, что дало повод к столь замечательному вопросу?

Убедительно изобразить положительного героя всегда труднее, чем отрицательного. Читателю судить, насколько справился с этой задачей И. И. Лажечников. Заметим только, что и здесь он нащупывает художественные решения, не чуждые русской литературе XIX века. Едва ли не все его «беленькие» герои — чудачки, «возвышенные уроды», как их называет повествователь, нарочито подыгрывая голосу толпы (как затем Достоевский в романе «Идиот»). Честность соляного пристава, не

берущего взятки ни при каких условиях, вызывает общее недоумение: «подлинно ли он русский: такие-де чудачки у нас и не рождаются», «хочет, дескать, перевернуть весь шар земной». Сам Горлицын даёт на редкость простое и даже «материалистическое» объяснение: «Может быть, оно и глупо, но что же делать? Это в моей натуре».

«Белизна», по Лажечникову, не следствие общественных условий, а свойство самой природы человека, «образ Божий» в нём. Правда, и на общество, на воспитательную функцию власть имущих он всё-таки не перестаёт надеяться. Когда губернатор публично обратил внимание на бескорыстную службу соляного пристава, это произвело впечатление: «Воздаяние чести только одному честному сильно действует на нравственность должностного общества».

Уездный город Лажечникова поворачивается к нам разными своими гранями, формируя противоречивый образ русской провинции. Нельзя сказать однозначно: провинция нас спасёт или провинция нас погубит. Автор останавливает свой «временник» на середине

пути. Если с «чёрненькими» и «беленькими» всё понятно, то в какую сторону двинутся «серенькие»?

Ощущение незавершённости повести создают и невыполненные обещания автора дать в четвёртой, пятой и шестой тетрадах «описание жизни семейства Пшеницыных в *Новом доме*; затем описание их жизни в *деревне*, с включением портретов *Замечательных деревенских личностей...*» Нетрудно догадаться, что Лажечников собирался продолжить автобиографическую линию, сопровождаемую социальной панорамой. Он с неизбежностью подходил к трагическому повороту судьбы своих родителей — к аресту и затем разорению отца. В повести имеются прозрачные намёки на такой ход сюжета. Градоначальник, уязвлённый независимым поведением богатого купца, обещает «доехать», «подкосить» зарвавшегося вольнодумца и попомнить при случае его опасную похвальбу: «бесчестных и незаконных дел не делаю и не только тебя, *никого* не боюсь». Очевидно, этот случай, а проще говоря, донос, должна была состряпать старая кухарка, пригретая Пшени-

цыным после смерти её хозяина (добрые дела наказуемы!). «Кухарка, как увидим, наделала много хлопот своему благодетелю», — автор то ли забывает об этом обещании, то ли не решается его исполнить.

Историю ареста, освобождения и разорения отца Лажечников изложил в автобиографии, продиктованной незадолго до смерти. В явно смягчённом виде она отразилась в романе «Немного лет назад» (1862), своеобразном продолжении «Беленьких, чёрненьких и сереньких», в чём признавался и сам автор. Здесь даны обещанные «деревенские» картины (жизнь семейства в усадьбе), но гораздо важнее то обстоятельство, что на страницах романа получили развитие образы родителей. Так, в повести «Беленькие, чёрненькие и серенькие» мать Вани Пшеницына мы скорее отнесём к «сереньким»: по жизни её ведёт мелкое тщеславное желание выделиться и всеми способами пробиться в среду городской знати. Она добивается своего, но какое испытание ждёт её впереди! Увы, оно по каким-то причинам осталось «за кадром» повести, однако из автобиографии писателя мы знаем,

что после ареста мужа эта женщина не упала духом и предприняла героические усилия для его спасения. Ей суждено было стать его добрым гением (видимо, не случайно этот сюжет настойчиво повторяется в исторических романах Лажечникова и, несомненно, отражает его понимание характера русской женщины). Внутреннее благородство высокой пробы, побеждающее мещанские наклонности холоденско-коломенской обывательницы, — такая перспектива, намеченная в повести «Беленькие, чёрненькие и серенькие».

Перспектива, открытая «сереньким» героям, по-своему выстраивает образ холоденского исправника Трехвостова. Кажется, нет границ его беззастенчивой всеядности, но вдруг, не без влияния «беленьких», кристаллизуются в этой бесформенной массе плоти крупницы стыда и человечности. Такие перемены вселяют надежду, что «серенькие» ещё могут поправить «запачканную одежду» (Книга пророка Исаии, 64, 6), как Трехвостов сбросил с плеч шубу, «воняющую грехом». Сказано же было в Апокалипсисе: «они омыли одежды свои и убелили одежды свои».

Яды и пороки провинциального бытия безжалостно, в традициях русской литературы, описаны Лажечниковым. На фоне то недалёких, то блудливых «отцов города» писатель воссоздаёт хорошо знакомый нам, от Гоголя до Замятина, миф провинции как сонного царства («в Холодне ... ничто не изменяло мёртвой тишины города»). Впоследствии этот миф применительно к коломенскому тексту обновит Борис Пильняк (город — «сон давних дней» в очерке «На родине Лажечникова», предваряющем романы коломенского цикла).

Ещё одна составляющая провинциального мифа — лютый информационный голод, едва утоляемый пересудами о ближних и дальних, старожилах и новосёлах. Полёт провинциальной утки гениально прослежен в «Ревизоре» и в «Мёртвых душах». И. И. Лажечников писал о провинциальных нравах в «Беленьких, чёрненьких и сереньких»: «В маленьких городах, в которых, кажется, и сами дома насквозь видны, где знают, что у вас каждый день готовится в горшке или кастрюле...» Прервём пока цитату. Ещё через три года тему продолжил Ф. М. Достоевский в «мордасовской лето-

писи» под названием «Дядюшкин сон» (затруднительно сказать, да и не важно, читал ли он перед этим Лажечникова: провинциальный текст в какой-то мере создаёт сам себя): «Всякий провинциал живёт как будто бы под стеклянным колпаком. Нет решительно никакой возможности хоть что-нибудь скрыть от своих почтенных сограждан. Вас знают наизусть, знают даже то, что вы сами про себя не знаете».

Вернёмся к прерванной цитате из Лажечникова. В провинциальном городке Холодне известно не только то, что у вас убежало из кастрюли, но, как уверяет повествователь, «так же скоро узнаётся и нравственность человека. Спросите, приехав в любой из этих городков, первого лавочника, первого трактирного слугу, каков такой-то, и, если вы не ревизор, против которого заранее подведены все подступы и приготовлены все камуфлеты, лавочник и трактирный слуга верно опишут вам человека с ног до головы». Куда это клонит Лажечников? А вот куда: «Вскоре граждане прозвали Горлицына честным и, что для них значило одно и то же, простым челове-

ком». Речь у Лажечникова, видите ли, идёт об известном нам «беленьком» герое. Оказывается, что «стеклянный колпак» провинции может не только плодить бесконечные сплетни, но и способствовать... выявлению праведников, на коих, как уже сказано, держится любой город. Глас народа может быть в конечном итоге и справедлив. Недаром же так заботится о своём имидже другой «беленький» герой Лажечникова Подсохин: «Он всегда думал не только о том, что скажут о нём при его жизни, но и после смерти». Эти русские чудачки не выдуманы писателем, он встречал таковых на своём жизненном пути (см. подробнее в Комментариях).

С торной дороги осмеяния провинции автор «Беленьких, чёрненьких и сереньких» шагнул в сторону и очутился перед едва заметной тропой. Ею только что прошёл С. Т. Аксаков со своей «Семейной хроникой», а следом уже двинулась Н. С. Кохановская с её провинциальными повестями. Первый покориł читателей дотошной наблюдательностью, не позволяющей усомниться в чудесных явлениях «образа Божьего» в «диких помещиках», а

вторая — песенной стихией, истекающей из сердечной глубины угрюмых обитателей медвежьих углов. Лажечников со свойственным ему горячим энтузиазмом приветствовал появление Кохановской в русской литературе. «Через посредство г-жи Кохановской, — с удивлением писал критик П. В. Анненков, — провинциальному быту возвращена вера в самого себя и право открыто исповедовать её. После долгой репутации отсталости и безумия, весь этот мир осмыслен ... его радости, печали, привычки и воззрения — всё осветилось лучом поэзии...».

Мало кто помнит сегодня имя этой писательницы, точно так же подзабыли мы и опыт пересоздания провинциального текста, предпринятый И. И. Лажечниковым. Мы знаем вершины («Соборяне» Лескова, «Братья Карамазовы» Достоевского), нимало не заботясь о тех трудных путях, которые вели к ним.

Искания Лажечникова не пропали даром и для становления собственно коломенского текста. Через десятилетия заживёт он полнокровной жизнью в творениях Н. П. Гилярова-Платонова и Бориса Пильняка. Очевидна

линия преемственности, идущая к ним от повести «Беленькие, чёрненькие и серенькие». Она сказывается и в ландшафтных описаниях, и в типологии горожан, и в прогнозах «нравственного климата», и в живом, колоритном языке, фундаменте коломенского текста. Его характеристику дал Гиляров-Платонов в речи о Лажечникове на чествовании писателя 4 мая 1869 г.: «это московский говор, однако близкий и к говору вятичей, и к говору новгородцев». Пограничность языка, дерзко «обирающего» соседей и гостей — проявление геокультурной специфики Коломны, как её определяет Гиляров-Платонов: «город-пригород Москвы, старый пограничный пост на границах Москвы, Орды и Рязани».

Важнейшие особенности коломенского текста, о которых речь ещё впереди, в следующих изданиях данной серии, ярко отразились прежде всего в повести И. И. Лажечникова «Беленькие, чёрненькие и серенькие».

В.Викто-
рович

В.Викто-

Беленькие, черненькие, серенькие[1]

Под этим заглавием выдаю историю одного семейства и портреты некоторых его современников. Семейство это знал я с первых годов моей юности. Последний представитель его, Иван Максимович Пшеницын (вымышленная фамилия, как и все прочие, упоминаемые в этом временнике), умер в конце прошедшего года, назначив меня своим душеприказчиком[2]. Разбирая его бумаги, я нашёл в них несколько рукописных тетрадей, хранившихся вместе под одной обложкой, на которой была затейливая надпись: *«Беленькие, чёрненькие и серенькие — списаны на поучение и удовольствие моих потомков»*. Каждая тетрадь носит своё собственное заглавие и имеет своё содержание. Так, в первой идёт рассказ о жизни семейства Пшеницыных в *Старом доме*; во второй — помещены портреты *Замечательных городских личностей*; третья под заглавием: *Соляной пристав*; в четвёртой опять описание жизни семейства

Пшеницыных в *Новом доме*; затем описание их жизни в *деревне*, со включением портретов *Замечательных деревенских личностей*, и так далее. Все тетради составлены из разных лоскутков, беспорядочно сшитых[3].

Списаны на поучение и удовольствие потомков? — думал я: следственно, автор желал, чтобы, по смерти его, рукопись была издана. Воля покойника священна для душеприказчика его. Исполняю эту волю, как полагаю, лучше.

Кажется, сочинитель временника желал, но, вероятно, не успел или поленился соединить свой рассказ в более стройное целое. Это заметно из того, что он дал всем тетрадям одно общее заглавие; сверх того, в описаниях современников его нередко упоминается о том или другом из членов семейства Пшеницыных, имевших с самими оригиналами портретов сношения и связи. В подлинной рукописи оказывались пробелы, возбуждавшие некоторые занимательные вопросы о характере и жизни Пшеницыных. Для разрешения этих вопросов я обращался к собственным своим воспоминаниям, так как многие собы-

тия, касающиеся этого семейства, проходили перед моими глазами. Всё это, где нужно и возможно было, связал я и дополнил собственными заметками и дорисовкой, как живописец склеивает и подправляет старые картины, в разных местах прорванные. Таким образом я составил нечто целое, сколько позволила мне форма, в которую автор облёк свои произведения. При сочинении оставил я название, данное ему самим завещателем, по пословице: всякий барон имеет свою фантазию. Об Иване Максимовиче говорю в третьем лице, как и он говорил о себе. Может быть, в труде моём и видны белые нитки: что ж делать? — я выполнил его по разумению моему и по возможности.

Представляю этот сборник суду читателей, как издатель и отчасти автор его. Прошу помнить, это не роман, требующий более единства и связи в изображении событий и лиц, а временник, не подчиняющийся строгим законам художественных произведений.

Необходимо ещё оговорить, что он начинается с последних годов XVIII столетия и доходит до двадцатых годов XIX-го. Как видите,

Дела давно минувших лет![4]



ТЕТРАДЬ I В СТАРОМ ДОМЕ

Иван Максимович Пшеницын родился в уездном городке Холодне[5]. Вы не найдёте этого города на карте. Однако ж, для удобства рассказа, я поместил его верстах во ста от Москвы. Хоть эта уловка похожа на хитрость, кажется, страуса, который, чтоб укрыть себя от преследований охотников, прячет

свою голову и туловище в дупло, а оставляет хвост наружу; но, несмотря на то что в вымышленном названии месторождения Пшеницына виден хвост, я всё-таки, по некоторым уважительным причинам, прячу лицо в это дупло.

Иван Максимович помнил из первых годов своего детства жизнь в этом городке, на Запрудье[6], в каменном одноэтажном домике, с деревянною ветхою крышей, из трещин которой, нагло общему разрушению, проби-ваются кое-где молодые берёзы. Она испещрена нарощим на неё мохом разных цветов. Верхи стен окаймлены зеленью плесени в виде неровной бахромы. В окнах железные решётки. Когда мальчик впоследствии перешёл на новое жилище[7], ему долго ещё чудились жалобные стоны от железных ставней, которые так часто, наяву в тёмные вечера и сквозь сон, заставляли жутко биться его детское сердце. Памятен ему был даже сильный лай старой цепной собаки и домик её у ворот, такой же ветхий, как и господский. Увидав мальчика, она с визгом бросалась к ногам его и лизала ему ручонки, забывая сытную по-

дачку, которую он приносил ей от своего стола. В комнатах темно, пахнет затхлым, мебель старая, неуклюжая, обитая чёрною кожей; все принадлежности к дому разрушаются, заборы кругом если не совсем прилегли к земле, так потому, что подпёрты во многих местах толстыми кольями. Дом стоит на огромном пустыре. Сзади, на несколько десятков сажен, ямы и рытвины, из которых, вероятно, много лет добывалась глина. Зато далее какой чудный вид из двух калиток, обращённых на запад и полдень! На возвышении кругом в два ряда высятся к небу столетние липы [8]: они с воем ведут иногда спор с бурями и, несмотря на свою старость, ещё не сломили головы своей. «Это стонет Змей Горыныч, который провалился тут сквозь землю», — говорила няня, употребляя орудия страха, в числе прочих своих убеждений, чтобы неугомонное дитя перестало возиться и заснуло. Отец же сказывал, что тут был просто-напросто пруд, давно высохший и давший целому кварталу города название Запрудья.

Далее видно поле. В иную пору года подёрнуто оно зелёным бархатом, в другую появля-

ется на нём роскошная жатва в рост человеческий. Малютка любит, как ветер по ней то бежит длинною струёю, то, играя, въёт завитки, то гонит волны перекатные или облако цветной пыли, обдающей его какою-то благоуханною свежестью. О! как весело мальчику броситься и утонуть в густой ржи! Как он нежится в этом лесу колосьев! Но вот зарделась вечерняя заря. Будто на небе где-то распахнулись настезь ворота и понесло через них холодком; роса пала на землю, жаворонки замолкли; зато закудахтали перепела, загорелся неугомонный крик дергачей[9]. Таинственно выходили из калитки дядька[10] Ларивон и барчонок, как он называл своего питомца, хотя Ваня только сынок купеческий. Будто крадутся они от людей для какого-нибудь худого дела, ныряя в глиняных ямах и рытвинах, помимо протоптанных дорожек. Вот показалась тёмная полоса, и над нею переливается золотистая поверхность; ещё далее, и для Вани закрылся румяный горизонт — он ничего не видит, кроме стены высокой жатвы. Дядька даёт ему знак, чтобы он присел, а сам заботливо устраивает запад-

ню. Ваня садится на корточки, притаив дыхание. Засвистала дудочка тихо, нежно[11], будто замирает голос птички. Крик перепела встрепенулся где-то вдали, потом бьёт ближе, живее; дудочка ему отвечает, и вот повели они промеж себя любовный разговор. Ещё минута, и какой-то клубочек упал в рожь, что-то стукнуло... «Попал!» — кричит дядька, и мальчик опрометью бежит на этот крик, путается и падает во ржи. Наконец пойманная птичка в его руках. Как будто в лад бьётся сердце у ней и у того, кто её держит. Он целует её, называет её самыми нежными именами, утешает, говорит, что ей будет хорошо жить у него. Восторгам малютки нет конца.

Подле полуденной садовой калитки[12], у наружной стены забора, лицом к городу, Ваня, с помощью дядьки, устроил себе скамеечку. Тут он, иногда с матерью, иногда на колених пригожей соседки, купеческой дочери, которая очень ласкает его, и даже один, засиживается по целым часам. От ножек скамейки начинается зелёный скат к реке Холодянке. Вот спешит и всё спешит она унести свои воды в реку, которая издали будто манит её к

себе[13]. На пустынной Холодянке ни одного челнока, берега тесно сжимают её; а там какое раздолье! Полногрудая красавица кокетливо выказывает только край своей голубой ферязи[14], только мелькают разноцветные ленты, развевающиеся на бесчисленных мачтах её караванов. И вот почему речка так суетливо торопится всё вперёд и вперёд! Казалось бы, немного добежать и броситься в широкое раздолье, а тут, назло ей, загородила дорогу колдунья-мельница[15]. Брюзжит старушка, и стучит костылями, и поднимает пыль столбом. Смирные до сих пор воды сердито бросаются на неё; начинается схватка — вопль, тревога на всю окрестность... Но вот вырвались они из плена. Вспененные, весело, игриво, как бы радуясь своей свободе, они бросаются в широкие объятия М-ы реки, которая сама спешит отнести свою добычу ожидающей её неподалёку О-е[16]. Влево, между мельницей и кожевенным заводом, стоящим в Запрудье, виден вдали Ба-ев монастырь[17]. Туда Ваня ездит иногда на богомолье с своею матерью. Там лик Спасителя так приветливо на него смотрит, а добрый старец-архимандр-

рит, благословляя его и давая ему свою ручку поцеловать, всегда жалует его просвирой[18]. За монастырём тянется мрачный лес, которому конца не видно. Вправо, против мельницы, на отвесной вышине, одиноко стоит полуразвалившаяся башня[19], которая, как старый, изувеченный инвалид[20], не хочет ещё сойти с своего сторожевого поста. Кругом всё развалины. В нескольких саженьях от неё начинается гряда камней, всё идёт возвышаясь, сливается потом в сплошную стену и наконец замыкается высокою угловою башнею[21]. Это отрывок кремля, построенного в давние времена от нашествия татар. Широкая стена, которая поворачивает влево от этого угла, более уцелела[22], несмотря на то что она беспрестанно расхищалась на разные постройки, казённые и из-за них частные.

Со скамеечки Ваня видит почти всю панораму города с золотою главой старинного собора и многими церквами[23]. Насупротив стелются по берегу Холодянки густые сады [24]. Весною они затканы цветом черёмухи и яблонь. В эту пору года, в вечерний час, когда садится солнце, мещанские девушки водят

хороводы. Там и тут оглашается воздух их голосистыми песнями. Ваня заслушивается этих песен, засматривается на румяное солнышко, которое будто кивает ему на прощание, колеблясь упасть за тёмную черту земли; засматривается на развалины крепости, облитые будто заревом пожара, на крест Господень, сияющий высоко над домами[25], окутанными уже вечернею тенью. Только нежный голос матери сквозь калитку или приказание дядьки могут оторвать его от этого зрелища. Странный был мальчик!

Ларивон часто водит его в ближайшую берёзовую рощу, раскинутую по двум скатам оврага. Будто для Вани расчищена она, будто для него устроены в ней концерты разноголосных птичек, для него по дну зелёного оврага проведена целая дорожка незабудок и везде рассыпано столько разнородных цветов, красивых, пахучих. И куда только пестун [26] не водил своего питомца по окрестностям, по каким рощам они не бродили! Но «умысел другой тут был»[27]. Ларивон был страстный соловьиный охотник. Он ловил, покупал, брал в учение и продавал соловьёв.

Не только что в комнате его все стены обвешаны клетками едва не до полу, но и в зале, в гостиной висят их по две, по три. Как скоро Ларивону было свободно (он в доме исполнял должности дядьки, слуги, иногда и приказчика[28]), сейчас принимался он за свои лекции. Начинались они тем, что профессор брал вилку и ножик и шурканьем одной на другом поднимал пернатых к пению. Потом высвистывал колена на разный лад[29], так что вы не могли разобрать, губы ли его пели или соловей. Это был настоящий орган. Иногда, забывшись на самых нежных или горячих перекурах, он закрывал глаза, как настоящий соловей, когда восходит до пафоса своего пения, — и с замирающим свистом, изнеможённый, опускался на стул. Не подумайте, чтобы одна корысть питала в нём эти занятия; нет, это была истинная страсть — он был охотник. И вот ради каких побуждений таскал он своего питомца по всем кустарникам и рощам, которые были в окрестностях. Случалось им увлечься так далеко, что малютка приходил домой без ног или пестун на руках своих приносил его спящего, иногда в венке из ланды-

шей, перевитых кукушкиными слёзками и васильками. Поэтому-то Ваня рано стал любить *природу*, рано стал сочувствовать красотам её. Никогда не отговаривался он от этих прогулок, как бы ни утомительны они были для него.

В доме все любили и уважали Ларивона, не выключая и самих родителей Вани, которого отдали, казалось, на безотчётное его попечение. Надо сказать, что и дядька не употреблял во зло доверия своих господ — как называл и почитал их, потому что был приписан к заводу, принадлежащему Пшеницыным[30]. Воспитанник не видал от него сердитого толчка, не только розги[31] (которая, правда, ни от кого никогда не была на малютке); никогда бранное слово не вырывалось из уст воспитателя, а если нужно было сделать выговор, так это делалось во имя *стыда*. «Эх! Как вам не стыдно, Иван Максимович, — говаривал он в минуты крайней необходимости, когда видел непростительную шалость своего питомца, — этого и бурлак не сделает [32]». За резвость и не думали взыскивать; дядька находил её приличною мальчику.

«Любо смотреть, — говаривал тот же природный наставник, — любо смотреть на молодого коня, когда его выпустят погулять. Шея его словно лебединая, грива встала крылом, ноздри огнём горят, из-под ног мечет он искры и землю — вольный конь летит с вольным ветром в запуски. А свинья только что роется в своей поганой луже да спит в ней, зарывшись в грязи; за то свиньёю и прозвали». Слово *стыдно* так запечатлелось на душе малютки, что он и во всех возрастах, во всех случаях жизни чтил его свято, как одну из заповедей Господних. Первому лепету молитвы няня выучила ребёнка, но молиться с благоговением — Создателю Господу Богу — внушал ему дядька, который сам всегда так молился, иногда со слезами на глазах. Ларивон любил очень странников-богомольцев и слушал с упоением простосердечной души беседы их о житии святых и мучеников.

Всё, что любил Ларивон, любил он горячо; за господ своих готов был *положить живот*. В честности его были так уверены, что не раз поручали ему большие суммы. Усердию его, нежной заботливости о них не было границ.

Когда они бывали по дорогам, он первый усматривал опасный косогор, мигом слетал с козел[33] и, как новый Атлас[34], принимал на себя всю тяжесть склонявшегося экипажа. В топких местах, а их было тогда много и по большим дорогам, он первый возился с колом, чтобы вырвать из грязи захваченное ею колесо. Ларивон не рассуждал, надорвётся ли от этого усилия или изломает свои кости — он думал только о безопасности своих господ. Заботливый до бесконечности, он просыпался в три часа, если ему велено было встать в четыре. Не полагайте, чтобы это был старик: ему считали с небольшим тридцать лет. Сложенный как богатырь, он имел и силу исполинскую. Лицо у него было очень мало по росту и детски добродушно. Говорят, что в физиономии каждого человека есть какой-то отпечаток звериного или птичьего первообраза; можно сказать, что в его физиономии было что-то соловьиное.

Нянька Домна, имевшая в это время ключи от всех кладовых и амбаров[35], была тоже редкий человеческий экземпляр. Вся жизнь её прошла в нянченьи и хозяйстве; в этих

только занятиях сосредоточены были все её помыслы и чувства. Она вынянчила мать Ваню и успела выдать её замуж; вынянчила Ваню и сдала его дядьке, румяного, разумного. Сколько бессонных ночей напролёт провела она над кроватями своих питомцев, когда они бывали больны! Сколько гнула она спину — и почаще деревенских жниц — чтобы выучить их ходить! Зато сама ходила крючком. А чего стоили ей заботы и опасения, не сглазили бы ребёнка, не выучили бы его соседние ребятишки худым словам! Взгляд его, движение, намёк, тревожное слово или улыбка во сне — всё это умела она перевести на свой сердечный язык. Бывало, удастся ей двумя иссохшими руками поймать Ваню, вертлявого, как вьюн, за кудрявую головку, и целует, целует её, — вот единственное наслаждение, которое вознаграждало старушку за тяжкие труды многих лет!

В числе прислуги была ещё старая кухарка Акулина, мать Ларивона. Её считали первою особой в домашнем штате. Чрезвычайно дородная, с зобом в три этажа, смотревшая на всех с высоты, она походила на важную куп-

чиху. Никого не удостоивала она низким поклоном, даже господ своих, а только едва заметным киванием головы. Если нужно было господам о чём посоветоваться, приглашали Акулину, как женщину старшую в доме, бывалую и разумную. На этом совете обыкновенно решал её голос, которому покорялась и сама Прасковья Михайловна (так звали Ванину мать). Акулина превосходно готовила кулебяки, всякие похлёбки, холодные и жаркие, квасы, мёды[36], мочила отличным образом яблоки и умела сохранять свежие до новых. Она же с таким складом и прибаутками рассказывала сказки, что её не только Ваня, но и большие заслушивались. Дар этот перешёл и к сыну её Ларивону.

Да ещё в доме был кривой кучер Кузьма, горький пьяница, который на старой сивой лошади[37] возил и воду и воеводу.

В доме не очень любили его: хозяйка за то, что был груб и запрягал лошадь по два часа; Ваня за то, что бранил и бивал больно железную лошадку, как называл он её по цвету масти; ключница за то, что воровал овёс и краденые деньги пропивал; Ларивон вообще за

беспорядочную жизнь; кухарка за то, что был нечистоплотен и даже подле *Божьего милосердия* нюхал проклятое зелье[38]. Под носом у него всегда оставалось гнёздышко табаку. Серые, налитые кровью глаза его смотрели недоброжелательно. Он сам не любил никакой твари. Если б не Ваня и Ларивон, старый пёс, оберегавший дом, давно помер бы с голоду. А чего не доставалось от Кузьмы его жертве, сивой лошадке? Кузьму терпели, потому что некем было заменить его.

— Что вы лааетесь: кривой да кривой? — говорил он, отделяваясь от брани дворовых. — Не своею охотой, Божья воля! Был хмельён да наткнулся на какой-то сук. Ослепнуть бы вам всем!

Вздумалось однажды этому грубияну отплатить своей госпоже за какой-то сердитый выговор.

— Купчиха! Больно спесива! — говорил он вслух сам с собою, запрягая лошадь и коленкой посылая ей в бок удар за ударом. — Вишь какая знать! Давай мне денег, и я буду купцом не хуже вас. Были мы прежде генеральские — не таких возили.

И вот едет Прасковья Михайловна куда-то в гости, в четвероугольной линейчке с порыжелыми кожаными фартуками[39]. Вдруг лошадь останавливается против *красных рядов*, на самом бойком месте в городе[40]. Возничий опускает вожжи, преспокойно достаёт тавлинку[41] из-за голенища сапога, запускает в неё концы своих пальцев и готовится вложить заряд в свою широкую ноздрю... П слышался смех лавочников; но вслед за тем мелькнула белая ручка в шёлковых перчатках, что-то горячее стегнуло Кузьму по щеке; щепоть табаку и тавлинка, вместе с кусками перламутрового веера и играющими на нём амурами[42], далеко полетели в сторону. «Пошёл! Я научу, как со мною шутить!» — раздался тонкий, но повелительный голос Прасковьи Михайловны. Возничий, невольно повинаясь этому голосу, взялся за вожжи. Линейчка тронулась, провожаемая одобрительными возгласами лавочников, ставших, по обыкновению людскому, тотчас на стороне победителя. Никогда ещё сивка так прытко не бежала, как будто из благодарности, что отплатили за многие её страдания. С той поры Кузьма дер-

жал мечь за пазухой.

Ване в то время, с которого начинается наш рассказ, едва минуло семь лет[43]. Матери его Прасковье Михайловне было только двадцать четыре года. Максим Ильич взял её из купеческого дома, который хотя был прежде очень богат, но расстроился вследствие разных торговых неудач. Она слыла первою красавицей в городе и хорошо это знала. Отец и мать баловали её, единственное своё дитя, как ненаглядное сокровище. Всякая прихоть, каприз её исполнялись как закон. С детского возраста она привыкла повелевать. Вырваться из смиренного круга, в который обстоятельства её бросили, и стать на высшую, блестящую ступень было одним из самых горячих её мечтаний. Властолюбивая дома, где всё ходило по её ниточке, она хотела и судьбу поставить на свою ногу. Девочка твердила, что выйдет за генерала. Увёз же соседку, красивую попову дочку, помещик, у которого тысяча душ, и женился на ней. Но генералов в кругу её не оказывалось, да и не было ни перед ней, ни за ней богатой придачи, за которою превосходительные женихи гонятся

более, чем за умом и красотой. Купеческих претендентов на её руку, которых предлагали ей родители, иногда на коленях, было множество. «Вспомни, Парашенька, — говорили они, — ведь тебе шестнадцать лет. Твои погодки уж два года замужем да и детей породили. Сраму, сраму-то не оберёшься, как засидишься в девках»[44]. Прасковья Михайловна, утомлённая этими мольбами, а ещё более убеждённая доводами няни своей, которая выводывала для неё все качества и недостатки женихов, решила осчастливить купеческого сына, Максима Ильича Пшеницына. Неужели его домик, смиренный, ветхий, мог прельстить гордую красавицу? Нет, она видела далее, она шла за богатые, блестящие надежды... Этот бедный домик должен был, рано или поздно, превратиться в роскошные палаты.

Грамоте Прасковья Михайловна плохо знала; она едва разбирала по складам песенники [45] и ужасными каракульками подписывала своё имя; однако ж цифры знала до ста тысяч. Она слыхала, что одна барыня, также безграмотная, имевшая дела с отцом её, проводила

за нос самых крючковатых законников, могла рассказать, как лучший адвокат, содержание каждой деловой бумаги и от небольшого наследственного состояния оставила своим детям несколько тысяч душ да построила десятков каменных церквей. И у нашей купеческой дочки грамота была в голове, или она, по крайней мере, так думала. Муж её, страстно влюблённый в неё, смотрел ей в глаза; свёкор ласкал её и называл своею любимую невесткой. К тому ж, всегда живя в Москве, он не мешал её домашнему владычеству. Перешагнув из жилища отца своего в жилище мужа, она только расширяла своё господство.

Максиму Ильичу было не более двадцати двух лет, когда он на ней женился[46]. Он имел приятную наружность, сердце доброе, светлый ум и стремление к дворянской жизни, чему способствовали немало связи его отца, Бог знает как и когда сделанные, со многими знатными лицами того времени[47]. При выборе его Прасковьей Михайловной склонило также весы на его сторону и то, что он и весь род его, со времени Петра Великого, ходили в немецком платье, что Пшеницыны

ели серебряными, а не деревянными ложками, каждый с своего оловянного прибора, а не из общей семейной деревянной чаши, что они имели прислугу и кое-какой экипаж[48]. Говорили, что этот род шёл от новгородских именитых людей, которые, избежав казней во времена Иоанна Грозного, переселены им были в Холодную[49]. Поэтому в фамилии Пшеницыных сохранилась какая-то наследственная, кровная гордость, которой не замечали в прочих смиренных обитателях Холодни. Во всех городских собраниях видали их всегда передовыми.

Надо прибавить, что Максим Ильич имел врождённое стремление к образованию себя. Случай развил ещё более эту склонность. В одну из частых поездок своих в разные пределы России, которые он всякий год совершал по торговым делам, познакомился он где-то с *каким-то господином* Новиковым⁽¹⁾[50]. Новиков полюбил молодого человека, беседовал с ним часто о благах, доставляемых просвещением, и снабдил его списком всех книг и журналов, какие только были изданы на русском языке. Максим Ильич не замедлил купить

эти книги и читал их с жадностью. К сожалению, в число их попала и нравственная контрабанда, которую умел искусно навязать ему книгопродавец: это был «Фоблаз» и несколько других подобных сочинений[51].

Когда красавица Пшеницына ехала в своей колеснице — покуда скромной, четверугольной линеечке, наподобие ящика, с порыжелыми кожаными фартуками, — на сивой старой лошадке, с кривым кучером, и подле неё сидел её миловидный сынок, прохожие, мещане, купцы и даже городские власти низко кланялись ей. Приветливо, но свысока отвечала она на их поклоны. В приходской церкви ей отведено было почётное место[52]; священник подавал ей первой просвиру; все с уважением сторонились, когда она выходила из храма.

Опять спросим, отчего ж такой смиренный, ветхий домик, мрачно глядевший на пустыре, такой бедный экипаж и прислуга — и вместе такое общее уважение жителей Холодни к Пшеницыным? Загадка была легка; её давно разгадала Прасковья Михайловна: отец мужа её был — миллионер. Миллионер того

времени!.. Максим Ильич имел ещё брата, который жил в Москве. Старик-богач здравствовал. Он давал сыновьям на содержание только то, что ему вздумается, да и в том требовал отчёта. Итак, жители кланялись богатым надеждам.

Ванин дедушка, Илья Максимович, широко торговал хлебом, производил значительные поставки в казну, которые едва ли не с начала XVIII столетия удерживались в роде Пшеницыных, имел серный завод в N губернии, фабрики парчовые и штофные в Холодне, несколько лавок для отдачи внаймы в этом городе и дома в нём и в Москве[53]. Дела свои вёл он деятельно, с точностью и честно; слову его верили более, чем акту[54]. Лет через двадцать после того, как начинается наш рассказ, случилось Ивану Максимовичу в одном обществе быть представленным сенатору и чрезвычайно богатому человеку, князю Д* (умершему едва ли не столетним стариком)[55]. «Очень рад, очень рад с *вами* познакомиться, молодой человек, — сказал сенатор, положив руку на плечо Пшеницына. — Мы с *твоим* дедушкой были большие приятели».

ли, делали и дела не малые. Времена были не те, что ныне. Теперь дашь деньги и на актец [56], глядишь — пропадают, или получишь их с великими хлопотами да с помощью подьячих. Высосут у тебя мошенники не только деньги, но и кровь [57]. С дедушкой твоим вели мы дела иначе. Бывало, понадобится тысяч десяток, двадцать, и шлёшь к нему цидулку [58]: пришли-де, приятель, на такой-то срок. Или ему понадобится. Давали друг другу без расписки, на слово, и день в день получали обратно свои денежки. Всё это стоило только одного спасибо. Да, да, — прибавил князь, вздыхая, — ныне времена другие».

Смутно помнил Иван Максимович, как пришла в Холодную весть, что скончалась «матушка Екатерина Алексеевна», как отец его побледнел и прослезился при этой вести, как в городе все ходили повеся нос. Сначала думал Ваня, что умерла родная мать отца его. Но Максим Ильич сказал, что той давно уж нет на свете, а скончалась государыня, благодетельница русского народа [59]. «Люби и уважай память её во всю жизнь свою, да и детей своих, коли будут, учи тому ж», — сказал он и

поставил Ваню пред иконой Спасителя и велел положить три земных поклона, со крестом, да приговаривать: «Спаси, Господи, и упокой душу рабы твоей императрицы Екатерины».

Между тем мечты Прасковьи Михайловны начинали осуществляться. Свёкор писал ей, что он очень хворает, не встаёт с постели, и просил навестить его, так как муж её в дальней отлучке. Хотя наступил февраль, на дворе были сильные морозы; наскоро собралась она и поехала с сынком. Тогдашние холоденские ямщики дельвали в зимний путь сто вёрст [60], не кормя, в девять часов. Для скорости, чтобы поспеть в Москву в семь часов, она переменяла лошадей на половине дороги, в Б-ах [61]. В первом селе отсюда осадили кибитку [62] рои девочек с криком: «Булавочку, барыня, пригожая!» — и едва ли не с версту бежали, запыхавшись, за булавочкой. В Островцах дали лошадям перехватить по ковшу воды [63]. Пока ямщик занимался этим делом, кибитку обступила толпа, большей частью женщин и ребятишек. В числе молодых баб много было пригожих. Золотые кички крепко, как в

тисках, стягивали их лбы, а сзади шеи, почти до плеч, упала блестящая стеклярусная сетка[64]. У всех в ушах пестрели стеклярусные подвески и на шее такие же ожерелья; зачерствелые от работ пальцы унизаны были медными перстнями и кольцами. Поступь их была важная и даже грациозная. Стан держался прямо, но юбочка, *понёва*[65], из шерстяной клетчатой материи, похожей на шотландку, и подвязанная очень низко, с каждым шагом колебалась из стороны в сторону. Замечено, что на этот шаг из крестьянских кокеток есть особенные мастерицы. Много безобразила их обувь. Шерстяные толстые чулки в бесчисленных сборах спускались к котам [66], а у беднейших к лаптям. Сапоги по колено означали особенное внимание к ним мужей. Спустия с плеча левый рукав овчинного полушубка, обшитого у иных котиком[67], молодые бабы, большей частью, опирались на плечо своих подруг и лукаво пускали на проезжих стрелы своих карих или серых глаз. Похвалы их или критические замечки сопровождались рассыпным хохотом, иные мурлыкали про себя отрывки песен. Дети, несмотря

на мороз, были в одной рубашонке (заметить надо, очень чистой). Издали многие из них казались ходячею огромною шапкой, клочком рубашки и двумя огромными сапогами. По сторонам каждого из этих движущихся чучелок мотались рукава рубашки, потому что руки у всех спрятаны были под пазухой. Прасковья Михайловна заметила, что в толпе женщин две молодки держали перед собою по одному мальчику в рубашонке, защищая их от холоду полами своих шуб.

— Что, это ваши братишки? — спросила Прасковья Михайловна.

При этом вопросе в толпе послышался смех.

— Так неужели детки?

Тут уж разразился заливной хохот.

— Это мужья их! — закричало несколько голосов.

— Да сколько же им лет?

— Мужьям-то?

— Да.

— С Николы вешнего пошёл четырнадцатый[68].

— А молодежицам?

— А молодлицам-то?

— Да.

— Одной без годика два десятка, а другой ровнёхонько два.

Надо заметить, что этих молодых бабёнок очень баловали свёкры, налегая всей тяжестью чёрных работ на старых жён своих, которые также имели некогда своё счастливое время. Молодой невестке пряник или калачик из города, и кусочек зеркала, купленный у гуляки дворового человека[69], и, что считалось большою драгоценностью, — кусочек белого мыла[70]. Старушкам был почёт только для вида при народе на улицах, а дома ставили их ни во что. Эта безнравственная очередь сменялась тогда с каждым новым поколением, пока не вышло благодетельное постановление, чтобы не венчать мужчин прежде восемнадцати, а женщин прежде шестнадцати [71].

По случаю счёта годов молодым бабам начались у них споры, потом причитания разных достопамятных эпох, ознаменовавших историю деревни. Тогда-то был пожар, Аксюшка родила уродца с собачьей головой, Си-

дорка ошпарился в бане, Емелька напился до того, что вороны клевали у него глаза, волки ходили по улице среди белого дня. Пошли упрёки, брань, к молодежи присоединились старушки, к старушкам мужики. Война разгоралась... Но ямщик тронул лошадей... Колокольчик зазвенел, полозья засипели, оставляя за собою два пушистые, блестящие искрами, хвоста... Замелькали верстовые столбы, напудренные рощи, поля, покрытые саваном снегов, длинные деревни, бабы, достающие воду из колодцев, наподобие журавлей на одной ноге, мохнатые лошадёнки и полинялые коровёнки, утоляющие жажду из оледенелых колод[72], опять и опять ходячие чучелки в огромных шапках с заломом и в сапогах по брюхо или в лаптёнках. Но всё это скоро затушеввалось. Завечерело на дворе; все предметы начали рябить в глазах и наконец потонули во мраке. Верстах в десяти от Москвы полный месяц затеплился на матовом небе и вскрыл прежнюю панораму, только при ночном освещении. Немного погодя разноцветная дуга обогнула месяц. «К добру!» — сказал Ларивон. «К морозу!» — прибавил ямщик и захолопал

рукавичками[73]. Прасковья Михайловна и Ваня не спали; мать потешала сына, указывая ему на живые картины зимы. То блеснёт перед ними верста под хрусталём ледяной коры, то засверкает поле миллионами дрожащих искр, то сучья в роще, покрытые густым инеем, протянут над путешественниками или страусовое перо, или пушистое марабу [74], или оснежённое гроздьё; иногда, словно шаловливый леший, осыплет кибитку горстями снегу. Среди глубокой тишины распевает один колокольчик, да разве ямщик, для отдыха лошадей — а может статься, непонятное ему чувство попросилось у него из груди наружу — затянет свою грустную, замирающую песнь, которая так тешит и щемит душу. Бьёт колокольчик реже; кажется, всё слушает: и поля, и рощи, и самый месяц на небе. Но вот рассыпался крик и гам ребятишек по деревне, ямщик молодецки окликнул своих коней-судариков, мелькнул ряд моргающих в окнах огоньков, и опять среди глубокой тишины распевает один колокольчик. Забелели две пирамиды, поперёк их лёг шлагбаум[75]. Кибитка остановилась. Ларивон побежал в кара-

ульню, ямщик слез, чтобы подвязать болтливый язык у колокольчика[76]; лошади отряхнулись, подняв от себя блестящую снежную пыль, фыркнули, причём ямщик каждый раз приговаривал: «Будь здоров!» — и стали чистить морды, запушённые снегом, то об оглобли, то о тулуп своего хозяина.

Тогда на заставах было очень строго. Прасковья Михайловна забыла запасть видом [77], которого в прежние её поездки в Москву никогда от неё не требовали, и ей приходилось поворотить оглобли назад или ночевать в съезжем доме[78]. Но целковый всё уладил [79]. «Подвысь!» — закричал целковый в виде засаленного сюртука[80] с клюковым носом. «Подвысь!» — повторил бравый *ундер* архаровского полка[81], и Пшеницына с трепетом сердечным въехала в Москву, сотворив широкое крестное знамение. Подвязанный колокольчик молчал; ямщик, озираясь робко, возвышал голос на лошадей; на улицах было пусто и жутко. Будто ехали по вымершему городу. Только изредка будочник постукивал в окна, чтобы гасили огни, хотя был только девятый час[82]. На этот стук отзывался со дворов

басистый лай собаки, и протяжно гремела её тяжелая цепь.

Кибитка остановилась в Таганке, у каменного двухэтажного дома[83], белевшего среди длинных заборов. Нигде в нём не видать огонька. Доступ в старинные купеческие дома, особенно ночью, не менее труден, как в древние баронские замки, хотя нет около них ни рвов, ни мостов подъёмных, ни рогатин. Ларивон нырнул в облаке пара, валившего от лошадей, и исчез. Тихо, сквозь железную решётку, застучал он в окно флигеля[84]; тихо, сквозь форточку, опросил его голос. Вскоре без шума отворились ворота; будто из земли выступил маленький человечек, стриженный в кружок, в крашенинном халате[85], и впился в ручку Прасковьи Михайловны. Осторожно въехала тройка на двор. Тут пошли опять постукиванья и переговоры на заднем крыльце. Наконец отворились двери в сени. Чернобровая девка с длинною косою до пят, с помощью фонаря осмотрев сонными глазами приезжих в лицо, повела их вверх по каменной, изрытой лестнице. И на лестнице, и в сенях чистота необыкновенная, какой и ныне с

заднего хода не бывает во многих купеческих и даже дворянских домах. Посмотришь с улицы — палаты; с парадного входа всё, как и быть должно, по регламенту палат; комнаты великолепно убранные; мебель, обитая бархатом, стоит чинно, по ранжиру; полы блестят, хоть глядись в них. Зайдите-ка с заднего крыльца — вам бросятся в глаза кучи сора, в которых и завитки огуречной кожи, и разбитая посуда, и пучки волос; тут же обледенелые потоки помоев, клочки рогожек на дверях и художнические эскизы мелом национальной школы живописи; вас обдаст удушливый запах, который пропитает в один миг вашу одежду. Зоркий глаз Ильи Максимовича, казалось, проникал и в самые потаённые углы; дом содержался в величайшем порядке и опрятности, как и все дела его. В верхних сенях встретили приезжих: малый лет двадцати с небольшим и мальчик лет шестнадцати, прилично одетые, и немолодая женщина в платке на голове, которого одно крыло было на отлёте, как у птицы, когда она от сна только что выправляется из гнезда. Все приложились к ручкам Прасковьи Михайловны и Ва-

ни, а женщина, сверх того, осыпала их разными олимпийскими эпитетами[86]. В одной из проходных комнат стояла кровать с двумя или тремя перинами под ситцевым балдахином [87]. Она была пуста. Тут же от лежанки[88], за несколько шагов, пышал африканский жар, и на ней возлежала на заячьей шубке какая-то великолепная особа. Тяжело волновалась белая, пышная грудь, торчали две огромные ноги в синих шерстяных чулках с красными стрелками. Это было лицо без названия должности. В наше время назвали бы её фавориткой[89]. Она проснулась, но не удостоила приезжих словом. Сама Прасковья Михайловна прошла около неё на цыпочках, с подобающим уважением, зная, что такие именно особы обладают волшебным жезлом покровительства.

Не хотели тревожить Илью Максимовича, но чуткое ухо его слышало прибытие гостей. Накрывшись малиновым штофным одеялом, он велел позвать к себе Прасковью Михайловну. Это был старик лет семидесяти пяти, мощно построенный. Только недавно стал он поддаваться немочам и вдруг свалился в по-

стель. Как дитя обрадовался он приезду любимой невестки, не дал ей руки своей, к которой она хотела было приложиться, нежно обнял её и осыпал ласками мать и сына.

Прасковья Михайловна поместилась в ближайшей от него комнате, сделалась постоянною сиделкою у постели его, вставала по ночам, чтобы дать ему пить — лекарства он не хотел принимать, — утешала его своими рассказами и ласками. Ваня помогал матери развеселить старика. Фаворитке сделано было от Пшеницыной два-три приятные ей подарка и приобретено её любезное внимание.

Раз, когда старик был в особенно приятном расположении духа и тела, он подозвал к себе Прасковью Михайловну. Время было вечернее; несколько серебряных лампад теплились перед иконами в золотых ризах[90], украшенных жемчугом и драгоценными камнями.

— Поди сюда, Параша, — сказал он и, когда та подошла к нему, ласково потрепал её по розовой щёчке. — Спасибо тебе, что старика не обездолила. Но спасибом сыт не будешь... Вот ключ — отопри-ка и выдвинь верхний ящик.

Тут вынул он из-под подушки ключ, передал его невестке и указал на комод, стоявший у кровати.

Прасковья Михайловна дрожа спешила исполнить это приказание. И что ж она увидела? Одна сторона ящика была набита кипами ассигнаций, синеньких, красненьких и беленьких[91], перевязанных тонкими бечёвками, а на другой стороне лежали холстинные пузастые мешочки[92]; сквозь редину их и дырочки кое-где вспыхивал жар золота. Молодая женщина никогда не видала такого личного богатства; она то краснела, то бледнела и растеряла глаза свои.

Улыбка самодовольствия пробежала по губам старика; он радовался смущению невестки, которую, как дитя, взманил дорогою игрушкой.

— Всё моё, Параша! — сказал он торжественным голосом и привстал с постели. Огромная тень от него покрыла молодую женщину и легла на стену. Старик был высокого роста, но ей показалось, что он ещё вырос в эту минуту и занял собою всю комнату. Свет от лампад засиял на голом черепе его,

окаймлённом венцом серебряных волос. — Всё моё! — повторил он, — да ещё столько же в верхнем и нижнем ящиках. А меди в кладовой едва ль не до потолка[93]. Всё это будет *ваше*... (тут он остановился немного и перекрестился), когда Богу угодно будет позвать меня в другую сторону. Там ничего этого не нужно. Честно, трудами нажито, благодарение Богу! Не с неба, как у иных, упало на меня богатство: отец и дед наживали, я приумножил. Не из Гуслицких лесов пришли ко мне капиталы[94]; не топил я пустых барок[95] — будто с казённою кладью, не удерживал у рабочих трудовых денег, не шильничал[96]... но и не мотал. И вам завещаю то же. Ты знаешь, в чести ли я у своей братьи; знаешь, что и господа знатные водят со мною хлеб-соль и жалуют меня своим приятством. А?..

— Знаю, батюшка.

— Думаешь, это мне так кланяются, мне так усердствуют? Нет, вот этим бумажкам, вот этому серебру и золоту, что в мешочках дрянных лежат. Сберегите это без жадности... Почему ж человеку и не потешиться Божьими дарами без вреда себе и людям? На то и да-

рами Божьими называются. Но, говорю вам, не мотайте. Сберегите моё наследство с добрым смыслом, с умным хозяйством, собственным глазом, и вам от малых и больших будет также почёт. Не послушаетесь меня, вам же будет худо. Расточите добро, так все ваши други и лизоблюды побегут от вас, да над вами же будут насмехаться. Кругом вас останется мерзость запустения. Слышишь, Прасковья Михайловна?

— Слышу, батюшка.

— Ванюшку учите добру, порядку и хозяйству; пожалуй, учите и наукам, да только таким, какие пригодны купцу. По мне, довольно бы грамоте русской и арифметике, да не моя воля!.. А воля-то, словно Божия, нагрянула на меня от матушки Екатерины Алексеевны. Премудрая была, дай ей Господи царствие небесное! Она это дело знала лучше меня. Сама из уст своих приказала.

— Разве вы с государыней говорили? — спросила Прасковья Михайловна.

— Осчастливлен был-таки[97], сударыня моя.

Старик сделал особенное ударение на этих

словах и продолжал:

— Вот как было дело. В запрошлом лете ездил я с депутацией нашей братьи купцов в Питер. Позваны были во дворец и допущены к ручке императрицы. Сначала струсил было я, да как повела она на нас своими ласковыми очами, так откуда взялась речь, помолодел десятками двумя годов и стал с ней говорить, будто с матерью родной. Завела она с нами речь о разных торговых делах, со мною особь о парчовой и штофной фабрике, о серном заводе. Такая доточная[98], всё знала, будто сама при всяком деле была. Потом изволила спросить меня: «Есть у тебя дети, Пшеницын?» — (Тут старик опять сделал ударение на своей фамилии.) — «Есть, говорю я, два сынка, матушка ваше императорское величество». — «А учил ты их?» — изволила опять спросить. — «Грамоте-де русской знают да счёты бойко, а меньший больно любит книги: не мешаю». — «Хорошо, а внучки есть?» — «И внучками двумя благословил Господь; ещё малые». — «Так их учи. Учение свет, а неучение тьма, а свет, знаешь сам, всему миру на добро. Не всё иностранным купцам ездить к

нам за нашим же товаром на своих кораблях. Пора и нам в широкое море, на русских судёнышках; пора и нам стать с ними по плечо не только силою оружия, да и разумом, да и наукой. Учи своих внуков, старик; этим докажешь, что вы истинные дети мои и недаром называете меня своею матерью». — Вот что говорила мне матушка-царица. И я скажу тебе по завету её: учите Ванюшку, да только чтоб было впрок, не на ветер... Пускай учится кораблики строить, пожалуй, и сам кораблик свой снарядит да назовет его: *дедушка Пшеницын*, хе-хе-хе! Пускай гуляет наше имя по широким морям и чужим берегам!.. [99] (Глаза у старика загорелись необычайным блеском; он протянул перед собою руку, на которой выпукло изваяны были мускулы, и раздвинутыми пальцами широкой руки тянулся будто схватить сокровища в неведомых морях.) Но смотрите... не вздумайте его в офицеры. Чтобы он у меня оставался купцом! [100] Слышишь, купцом! Я этого хочу, — довершил старик грозным, властительным голосом, и огромная тень его заколебалась на стене.

— Слушаю, батюшка, — отвечала Праско-

вья Михайловна дрожащим голосом, стоя всё у открытого комода, и робко потупила глаза.

Старик, как бы утомлённый, прилёг на подушку, но вскоре спросил тихо и ласково:

— А хоромины, чай, у вас плохи, Параша?

— Стареньки, батюшка, в большой дождик сквозь потолок течёт.

— Нечего скважины затыкать. Вот хоть мою старую хламиду как ни чини, а всё развалится скоро. Вы с мужем люди молодые, вам и житьё надо новое. Отодвинь-ка ещё ящичек... Впереди не тронь. Не смотри, что смазливый цветом, всё ребятишки, дрянь, хе-хе-хе!.. Запусти-ка ручку подальше, в тёмный уголок... там всё сотенные бояре!.. Даром что старички, можно около них погреться... Возьми стопочки две. Да, знаешь, чтобы не дразнить дорогой недоброго человека, зашей под поясом. Бери же, дурочка.

Дрожащими руками взяла молодая женщина две кипы ассигнаций там, где указывал свёкор; на ярлыках каждой написано было: десять тысяч. Она взглянула на надписи и, показав их Илье Максимовичу, примолвила:

— Не много ли, батюшка?

— Что взято, то свято, — сказал старик, ухмыляясь, — слушай: как приедешь домой, пошли от мужа Ларьку к хозяевам пустыря, что на Московской большой улице, против Иоанна Богослова...[101] дескать, твой муж накидывает за места с старою рухлядью сто рублёв против того, что я давал. Люди в нужде, обижать не надо. Максим приедет, купчую совершите[102]. Простору много — целый квартал; стройте, что вздумается, да чтоб было всё каменное, вековое. Знай, что дома Пшеничных!.. А как заложите хоромы, так я новорождённому пришлю на зубок ещё стопочки три седеньких старичков... чтобы рос скорее.

Невестка хотела поцеловать руку у свёкра, но тот не дал руки, а поцеловал её в малиновые губки, как сам их называл.

— Да куда Ванюшка запропастился? Позовите его ко мне.

Позвали Ваню, которого также очень любил старик. Он указал ему на выдвинутый ящик комода.

— Помнишь, поросёнок, — сказал он, — считал ты со мною всё шиши да шиши? (Ваня в первые годы своего детства называл так ты-

сячи, которые перебирал с дедом на счётах.) Возьми что полюбится; ведь ты также ухаживал за стариком.

Ваня заглянул в ящик и с неудовольствием сказал:

— Вишь какой деда, бумажками потчует; мне давай золотых арабчиков[103].

— Нечего делать с дурачком; развяжи, Параша, первый мешочек-то налево, с краю... всё *супротивни*^[2]. Пускай хватает горсткой и сыплет себе в карманы, что наберётся. Слышь, на эти деньги ему особую горенку, да чтоб штофом вся была обита — не покупать статью, с своей фабрики.

Прасковья Михайловна развязала мешочек, указанный свёкром; из него полился блестящий поток империалов. Ваня захватил горстью, что могло в ней набраться, и сказал:

— Довольно.

— Не жаден будет, — заметил старик.

Мать сочла деньги, прибавив:

— Чтоб не растерял!

Это действие видимо понравилось старику. Он сказал ей спасибо да кстати приказал ей заштопать дырочки, оказавшиеся в ме-

шочках.

Долго не могла заснуть молодая женщина, строя в мечтах своих палаты на пустыре. В Холодне было много каменных двухэтажных домов, но она хотела поставить дом на удивление всем. И во сне снились ей волшебные замки из литого золота, с такими причудливыми затеями, какие только рассказываются в сказках или из воска выливаются на святочных вечерах[104]; снился ей также какой-то сказочный царевич у ног её.

Прасковья Михайловна прожила с лишком три недели у свёкра, в том числе и масленицу, и стала скучать. Она горела нетерпением отвезть домой начатки своего богатства; казалось ей, в доме свёкра они ещё не принадлежали ей. Между тем Илья Максимович старался сделать как можно приятнее её пребывание у него: давал ей своих рысаков для катания к ледяным горам и к бегу[105], которые тогда на Москве-реке кипели народом; заставлял молодого слугу и мальчика играть камедь — чьего сочинения, неизвестно[106]. Старшее лицо представляло мельника-колдуна, обсыпанного мукой, в седом парике и с бо-

родой из конских волос; младшее исполняло роль дурачка-угольщика. В этом игрище было много народного юмора, пересыпанного, однако ж, такими непристойными остротами, что Прасковья Михайловна просила скорее прекратить эту мужицкую забаву, как она назвала её. Это очень удивило всю дворню, и немудрено. В то время, и даже до десятых годов XIX столетия, в Москве без «мельника и угольщика» не обходилась почти ни одна богатая купеческая свадьба или пирушка. Наштукатуренные и чернозубые купчихи[107], подгулявши (заметьте, они считали за величайший стыд и порок пить вино при мужчинах, но удалялись в особенную потаённую горенку вкушать его под именем мёда), заливали остроты скоморохов простодушным хохотом, а иногда, за перегородкой, награждали ловкого колдуна и тайным поцелуем. За комедией выступал обыкновенно доморощенный трубадур с бандурой, с песнями и пляской[108]. Дивные штуки выделывал он ногами, да и каждая косточка в нём говорила. А как подскочит под самый нос пригожей купчихи, поведёт плечом, на которое вскинет

клетчатый платок, и обдаст её, как кипятком, молодецким спросом: «Аль не любишь?» — так восторгу не было конца. Но венцом его искусства был какой-то *сальто-мортале*: на всём скаку раздвинет ноги вперёд и назад и упадёт на них так страшно, что, казалось, должен был бы разодраться пополам, а он понемногу, как стрела, станет опять на ноги [109]. За то, когда артисты, окончив представление, обходили зрителей с тарелкой в руках, со всех сторон сыпались на неё щедрые дары мелкою и крупною серебряною монетой, между которою попадалась иногда и золотая.

Любил Илья Максимович тешить себя и честолюбивую невестку рассказами о связях своих с тогдашними знатными господами, о том, как они живут, да как убраны у них палаты, как он обращался с ними уважительно, да и себя не ронял, а тех, которые вышли из подъячих да зазнались, дразнил игрою своего миллиончика или намёком на нечистое дельце. Гордился он очень знакомством своим с графом Алексеем Григорьевичем Орловым [110].

— Вот русский боярин! Алмаз-боярин! —

говаривал он. — Посыпьте перед ним дорожку золотом, да по грязи — не захочет замарать рук своих, чтобы подбирать их. Не то что какой-нибудь шематон[111], изроет целую навозную кучу, чтоб достать червончик, да ещё подумает, нельзя ли из навозу сделать золота. И осанкою, и мощью, и духом — всем взял! Стоит на кулачном бою промеж чёрного народа, а тотчас видно, что боярин! Кажись, ласков и с малым ребёнком, а глазами поведёт, так поневоле хватаешься за шапку.

— А знаешь ли, Прасковья Михайловна! — прибавил Илья Максимович. — В прошедшем лете не погнушался в гости к моему Гаврюшке. (Тут указал он на Ларивонова старшего брата, остриженного в кружок, в чуйке[112] из зелёного порыжелого бархата с цветочными дорожками, в галстукe, затянутом наподобие ошейника.) Проведал как-то граф, что у него диковинный голубь — турман[113] что ли, пёс их знает, — да и приехал с приятелями посмотреть. «Я, — говорит, — не к Илье Максимовичу, а к Гавриле его». Уж и потешил Гаврюшка мой важного гостя! Понёсся голубь воронкой всё выше и выше, забил крылышка-

ми, словно двумя серебряными листиками, потом стал в небе пятнышком не более гроша [114] да и пропал... Навели трубу, и в неё не видать! Думал я, уж не ястреб ли скушал. А голубь вдруг замелькал в высоте поднебесной и стал, словно клубочек, разматываться, разматываться — да как падёт сверху кувырком, примером сажень пятьдесят, и бряк оземь, прямо к ногам его сиятельства. Все диву дались и захлопали в ладоши. Граф вынул из кошелька штук пять золотых, отдал их этому дураку да погладил его по голове. Да вот и возгордился Гаврюшка, — прибавил Илья Максимович, — надел ныне бархатную чуйку. Подарил ведь с плеч своих. Кажись, будни.

— Для Прасковьи Михайловны, батюшка Илья Максимович, — сказал человек, остриженный в кружок.

— Чай, своя! Смотри, брат, не заламывайся; знаешь, не люблю мотовства. У меня, Параша, вот какой обычай. Припадёт кому из них охота до чего — возьми у меня, сколько угодно, на развод; да только чтоб впрок шло, и назад долг отдай. Гаврюшка к голубям пристрастился: на, купи, брат, голубей, да чтоб не

были дрянью, отборных. Вот и купил, и богат стал от голубей, и долг отдал. Так и мельнику-бандуристу дал на струмент и дурацкую одежду[115]: впрок пошло — молчу и по головке поглаживаю. А зашалит да замотает, так у меня разом полетит на завод нюхать серу. А кстати, Гаврюшка, из какой заморской стороны добывают много серы?

— Цыцыла, — отвечал Гаврила.

— Ха-ха-ха, Цецилия[116], говорил я тебе; Цецилия, дурак! Ведь я сам, Параша, учился, неравно спросит по серному заводу матушка императрица.

И Прасковья Михайловна, чтобы угодить на случай старику, твердила про себя имя заморской страны Цецилии, откуда добывают много серы.

На конце первой недели Великого поста Илья Максимович, чувствуя себя гораздо лучше, так что мог бродить по комнатам, и заметив по лицу Прасковьи Михайловны, что в гостях хорошо, а дома лучше, благословил её на возвратный путь. Собрались уж после обеда. «Смотри, душа моя, ночуй в Люберцах, — говорил он, провожая невестку, — а то в Вол-

чьих Воротах шалют»[117].

Кто ездил по холоденской дороге, тот не мог не заметить на возвышенной равнине, за двадцать вёрст с небольшим от Москвы, несколько вправо от дороги, одинокую сосну, вероятно, пережившую целый век. Так как окрестные жители искони хранят к этому дереву особенное благоговение и не запахивают корней его, то оно свободно раздвинуло кругом на несколько сажень свои жилистые сучья, из которых образовалась мохнатая шапка. В тени её могут укрыться несколько десятков человек. Видно, она стала тяжела старому богатырю, и он кверху несколько согнул под нею свой стан. Это дерево подало Мерзлякову мысль написать известную песнь [118]:

*Среди долины ровныя, на гладкой
высоте,
Стоит, растёт высокий дуб в мо-
гучей красоте.*

Она была во времена оны в таком же ходу по всей Руси, как «Чёрная шаль» Пушкина [119]. Только, по самоуправству поэтическому, сосна превращена в дуб.

Когда с сосной поравнялась кибитка, в которой ехала Прасковья Михайловна с двумя сокровищами — сыном и богатым подарком свёкра, уж начинало темнеть. Предметы стали сливаться; только одинокое дерево в своей чёрной, мохнатой шапке господствовало над снежною равниной. Ветер наигрывал в его сучьях какую-то заунывную мелодию и взметал около него снежный круг. Показалась деревня *Теряевка*[120]. Вся она из четырёх-пяти дворов, без улицы. Избы наподобие свиных клетухов[121], солома на крышах, взъерошенная, как волосы у пьяного мужика, кругом поваленные и прорванные плетни, дворы без крыши[122] — всё это худо говорило о довольстве и нравственности жителей. Сквозь маленькие окна, заткнутые кое-где грязными тряпицами[123], заморгали подслеповатые огоньки. Ветер колотил по крышам не утверждённые на них жерди. Одно имя Теряевки звучит недобрым смыслом, и недаром: сюда переселены были из каких-то дальних поместий избранные негодяи; в виду деревни Волчьих Ворота, где не один прохожий и проезжий потерял своё добро и свою голову. Сде-

лалась темь, только что чертям за волосы дратья. У крайней избы, вросшей в землю, слышался какой-то зловеший свист. Этому свисту отвечали далеко впереди. Сердце дрогнуло и сильнее забилося у ямщика, Ларивона и молодой купчихи. Ямщик толкнул слугу и стал с ним перешёптываться, слуга взглянул на госпожу свою. Ваня спал крепким сном возле матери. Тут вспомнила Прасковья Михайловна слова свёкра и поздно раскаялась, что не послушалась его совета ночевать в Люберцах. Лишиться такой важной суммы, какую она везла, может быть, видеть, как зарежут сына её, и умереть самой во цвете лет, с такими блестящими надеждами, под ножом разбойника... Подумала она, и вся кровь её прилила к сердцу.

— Голубчик, Ларивон, худо? — спросила она, — не воротиться ли назад?

— Что назад! — перехватил ямщик. — До Островцов рукой подать, а назад до первой деревни добрых пять вёрст. Не ночевать же в разбойничьей Теряевке!

— Сотворите крестное знамение, барыня, — сказал Ларивон, — Бог милостив. У меня

мушкетон[124], а в случае нужды на подмогу топор.

— Дай мне топор, — сказала она.

— Пожалуй, да что вы с ним сделаете?

— Что смогу.

Она приняла тяжёлое орудие, но не могла сдержать его и положила возле себя. Ларивон, осмотрев мушкетон, посыпал пороху на полку из патрона, который вынул из-за пазухи.

Ямщик поехал шагом... Как будто в лад общему настроению, и колокольчик робко зазвенел.

— Пошёл! — закричала молодая женщина, — ты уж с ними не заодно ль? Первому тебе этот топор.

— Не мешай, барыня, — отвечал сердито ямщик, выхватил из кибитки топор и положил его в своё сидение, — не твоё дело. Разбуди-ка лучше дитя, чтобы не испужался.

Потом снял шапку, перекрестился и примолвил:

— С крестом худых дел не делают.

Мать, невольно повинувшись ямщику, разбудила ребёнка.

— А что, приехали? — спросил Ваня, встре-

пенувшись и протирая глаза.

— Нет ещё, а близко... услышишь, может, крик... не пугайся... это ямщик хочет вперегонку с знакомым ямщиком.

— Где ж, мама?

— Впереди, голубчик, тебе не видать за лошадыми.

Продолжали ехать шагом... колокольчик нет-нет звякнет да и застонет... Уж чернел мост в овраге; на конце его что-то шевелилось... За мостом горка, далее мрачный лес; в него надо было въезжать через какие-то ворота: их образовали встретившиеся с двух сторон ветви нескольких вековых сосен. Мать левою рукою прижала к себе сына, правую со-творила опять крестное знамение.

— Теперь держитесь крепко, — сказал ямщик и гаркнул изо всей мочи: — Эй! Соколки! Выручайте, грабят!..

В голосе его было что-то дикое, отчаянное; казалось, лес вздрогнул от этого крика и повторил его в бесчисленных перекатах. Лошади, и без принуждения привыкшие выносить в гору так, что не было ещё человека, который мог бы удержать их на подобных выно-

сах, рванулись и помчались, будто бешеные. Что-то крякнуло на мосту, полетели куски жерди, которою он был загорожен, кто-то застонал... порвалась бранная речь, перехваченная ветром... Все эти звуки следовали один за другим по мгновениям ока так, что чуткое ухо сидевших в кибитке, ловившее малейший признак опасности, могло смутно различить их. Кибитка взлетела на горку и понеслась будто по воздуху. Между тем что-то ударило в волчок кибитки[125] и раздробило его верхушку, послышался ружейный выстрел... Ваня закричал и прижался к матери. Разъярённых коней не могли удержать ближе Островцов.

В деревне отрадно забежали со всех сторон огоньки в фонарях и обступили кибитку; слышались ласковые голоса, приглашавшие проезжих переночевать и обольщавшие ямщика и дешёвым кормом, и крупитчатými папушниками[126] с липовым мёдом. Он угрюмо молчал и въехал в знакомый постоянный двор. Пар от лошадей застлал двор.

Кибитка подъехала к чистому крылечку, устланному соломой. На нём старушка с доб-

родушным лицом встретила приезжих и осветила им дорогу фонарём. Горенка, в которую они вошли, налитанная смоляным запахом от стен, только перелетовавших[127], была чистая и тёплая; свет от лампы, теплившейся перед иконами, обдал их каким-то благодатным чувством. Первым делом Прасковья Михайловна было броситься на колени и со слезами благодарить Господа за спасение её с сыном; Ваня сделал то же по её приказанию. Она была бледна, но скоро оправилась и за самоваром почти забыла только что минувшую беду.

Вошёл ямщик, сердитый, угрюмый, почесал голову и с досадой бросил свою шапку на салазок[128].

— Ну, барыня, — сказал он, — крепко обидела ты меня... поусумнилась во мне...

— Прости мне, голубчик мой, — перебила Прасковья Михайловна, — не в своём разуме была... сам посуди, возле меня дитя... один только и есть... ведь и у тебя, чай, дети.

И слёзы помутили глаза молодой женщины.

— Кабы не этот мальчуган, не бессудь —

закаялся бы во веки веков возить тебя по дорогам. Ну, да ты добрая барыня (тут ямщик махнул рукой); на тебя и зла нет!.. А всё-таки лошадак полечить надо, да и мне не худо отвести душу.

Прасковья Михайловна вынула из кошелька, висевшего у ней на груди, два империяла из Ваниных денег и отдала их ямщику. Мальчик знал, что эти деньги ему подарены, и весело смотрел, как отдавали их.

— А что лошадки, не больно ли ушиблись? — спросила она.

— Благо разбойничья жердь пришла в упор хомутам...[129] царапины есть на всех, одна похрамывает... да Бог не без милости!.. А коли зачахнут, знаю, не обидишь меня. Пшеницыны по Холодне первые люди, а ты краля холоденская.

— Вот тебе Господь свидетель (и она указала на образ), если случится беда какая, приходи ко мне прямо... я поставлю тебе тройку таких же лихих лошадей. А для чего вырвал ты у меня топор? — прибавила Прасковья Михайловна.

— Неравно померещилась бы тебе невесть

какая напасть... у страха глаза велики, бес лукав... да пришла бы тебе блажь хватить меня топором. Убить бы не убила... где тебе!.. а шкуру бы испортила. Вот тут уж разбойнички сделали бы своё дело.

Расхохоталась молодая женщина, и мир был заключён.

В Островцах она давала как-то в долг богатому мужику на свадьбу двадцать пять рублей. Обещался отдать через неделю; божился всеми угодниками, клялся и детьми и утробой своей. Прошло месяца два. Теперь был случай получить деньги. Но много труда и ходьбы взад и вперёд стоило Ларивону, чтобы вытянуть эти деньги. Да и тут должник, отдавая их Прасковье Михайловне, вместо благодарности почесал себе голову и примолвил: «А что ж, барыня? Надо бы на водку».

Приехали в Холодную, в старый, бедный домик. Казалось, после поездки в Москву, он сделался ещё древнее и сумрачнее, ещё болееросло на него моху, который выступил изпод снега, уже много сбежавшего. Но вскоре возвратился из своих странствований Максим Ильич. Свидание молодых супругов было

самое нежное. Прасковья Михайловна рассказала мужу, с каким успехом съездила она в Москву и какому страху подвергалась на возвратном пути в Волчьих Воротах. В свою очередь, муж рассказал ей, как за несколько лет тому назад, в плавание его с караваном судов по Волге, в Кос-ой губернии, напала на него шайка разбойников, а атаманом у них был князь К-ий[130]. Этот князь имел дом, в виде замка с башнями, на берегу реки, и занимался с своею дворнею грабежом проходящих судов. Молодой Пшеницын отделался от него страхом и несколькими сотнями рублей.^{3}

Место под новый дом тотчас было куплено, спешно началась заготовка под него материалов. Оно занимало почти целый квартал и выходило на три улицы. Было где разгуляться капиталам Ильи Максимовича! Закипела работа и в марте. Потянулись к пустырю целые обозы с лесом, камнем и кирпичом; застучали сотни топоров, ломы начали шевелить остов одряхлевшего, давно необитаемого дома; с писком и криком высыпали из него стаи встревоженных нетопырей[131] и галок. Эта постройка составила важную эпоху в городе,

едва ли не равную с построением кремля. Толпы народа ходили глазеть на неё, как на необыкновенное зрелище. Каждый толковал о ней по-своему; домостроительным фантазиям этих прожектёров не было конца. Иной возводил здание едва ли не с Ивана Великого, другой вытягивал его сплошь на все три улицы[132]. С этого времени жители ещё ниже кланялись семейству Пшеницыных. Но добрый Максим Ильич не переменился к своим согражданам: был так же ласков и общителен с ними, как и прежде всегда. Только, не знаю почему, стал на *ты* с властями, которые с ним были на *ты*, хотя и прежде не унижался перед ними, но не выходил из церемониального *вы*. Странно, и власти не обижались этой переменной, водворявшею равенство между дворянином и купцом.

Между тем родители Вани вспомнили, что пора ему приняться за учение. Приходский священник взялся за это дело и вскоре обрадовал отца и мать, что ученик прошёл без наказания букварь в один месяц, когда он сам в детстве употреблял на это целый год с неоднократными побуждениями лозы.

В Холодне, кроме тревожной постройке дома Пшеницыных, ничто не изменяло мёртвой тишины города. По-прежнему нарушалась эта тишина мерными ударами валька [133] по мокрому белью и гоготанием гусей на речке; по-прежнему били на бойнях тысячи длиннорогих волов, солили мясо, топили сало, выделывали кожи и отправляли всё это в Англию[134]; по-прежнему, в базарные дни, среди атмосферы, пропитанной сильным запахом дёгтя, скрипели на рынках сотни возов [135] с сельскими продуктами и изделиями, и меж ними сновали, обнимались и дрались пьяные мужики. По воскресным дням толпы отчаливали к городскому кладбищу, чтобы полюбоваться на земле покойников очень живыми кулачными боями[136]. Пузатые купцы, как и прежде, после чаепития, упражнялись в своих торговых делах, в полдень ели редьку, хлебали деревянными или оловянными ложками щи, на которых плавало по верху сала[137], и уписывали гречневую кашу пополам с маслом. После обеда, вместо кейфа, беседовали немного с высшими силами[138], то есть пускали к небу из воронки

рта струи воздуха, потом погружались в сон праведных. Выбравшись из-под тулупа и с лона трехэтажных перин, а иногда с войлока на огненной лежанке, будто из банного пара, в несколько приёмов осушали по жбану пива, только что принесённого со льду[139]; опять кейфовали, немного погодя принимались за самовар в бочонок, потом за ужин с редькой, щами и кашей и опять утопали в лоне трехэтажных перин. Как видите, жизнь патриархальная! Немногие избранники отступали от неё. Книжки в доме ни одной, разве какой-нибудь отщепенец-сынок, от которого родители не ожидали проку, тайком от них, где-нибудь на сеннике[140], теребил по складам замасленный песенник или сказки про Илью Муромца и Бову Королевича[141]. Ныне уж не то: мотишка-сынок, тайком от отца, читает «Вечного Жида»[142], курит дорогие сигары и пьёт напропалую шампанское.

Прекрасный пол в Холодне имел тоже свои милительные забавы. Купчихи езжали друг к другу в гости. Посещения эти начинались киванием головы, как у глиняных кошечек, когда их раскачивают, и прикладыванием уст

к устам. Затем усаживались чинно, словно немые гости на наших театральных подмостках[143]; следовали угощения на двадцати очередных тарелках с вареньями, пастилою и орехами разных пород. При этом неминуемо соблюдалась китайская церемония бесчисленных отказов и неотступного потчевания с поклонами и просьбою *понудиться*. Кукольная беседа нарушалась только пощёлкиванием орешков и оканчивалась такими же китайскими церемониями, с прошением впредь жаловать и не *бессудить* на угощении[144]. И возвращались гости домой, довольные, что видели новые лица, подышали на улице свежим воздухом и свободой!

Надо оговорить, к чести граждан, что чистота нравов, несмотря на грубую оболочку, крепко соблюдалась между ними. Хлебосольством искони славился город. Когда стояли в нём полки, мундиры у солдат, через несколько месяцев, делались узки, и считалось обидой для зажиточного хозяина, если постоялец его офицер держал свой чай и свой стол[145].

В городе ни одного трактира. Они появились только незадолго до двенадцатого года

[146]. Да и то купеческие детки, даже сначала мещанские, ходили в них тайком, перелезая через заборы и пробираясь задними лестницами, под страхом телесного наказания или проклятия отцовского. С того времени ни одна отрасль промышленности не сделала у нас такого быстрого успеха, и вы теперь не только в Холодне, но и по дороге к ней от Москвы, почти в каждой деревне, найдёте дом под вывескою ёлки, трактир и харчевню[147].

Случались, однако ж, в городе важные происшествия, возмущавшие спокойствие целого населения. То появлялся оборотень, который по ночам бегал в виде огромной свиньи, ранил и обдирал клыками прохожих; то судья, в нетрезвом виде, въезжал верхом на лошади и без приключений съезжал по лесам строившегося двухэтажного дома; то зарезывался казначей, обворовавший казначейство. Полицейские личности в городе были то смиренные, то сердитые; большей частью их отличали не по уму и честности, а по степени огня в крови; но во всяком случае они приходились по городу, как домовый, по народному поверию, всегда люб во всяком жилье, хотя б

и проказничал над своими жильцами. Администрация и суд творились в духе патриархальном, без большого поощрения бумажной фабрикации. Дела, по обыкновению, делались через секретарей. Подьячие довольствовались малым и брали больше за исполнение, нежели за обещания, жили умеренно, экипажей и лошадей не знавали, жён и любимиц своих не одевали, как богатых барынь, и не прикасались устами к струям шипучей ипокрены[148], хотя и можно было дёшево черпать из неё на Арбате под вывескою: *здесь делают самое лучшее шампанское*[149]. В Холодне не сказали бы того, что я слышал лет десять тому назад в одном уездном городе от продавца вин, у которого спрашивал шампанского: «А что, батюшка, будем мы делать, когда вдова Клико помрёт?» Пили, правда, много, очень много, но с патриотизмом — всё своё доморощенное: целебные настойки под именами великих россиян, обессмертивших себя сочинением этих напитков наравне с изобретателями железных дорог и электрических телеграфов[150], и наливки разных цветов по теням ягод, начиная от янтарного до тём-

но-фиолетового.

Были, однако ж, замечательные личности в городе, и мы обязаны посвятить им особенную тетрадь.

Весна дохнула на землю своим теплом и благоуханием, накинула зелёную сетку на рощи, ковры на луга, заговорила лепетом своих ручьёв и шумною речью своих водопадов, запела песнями любви и свободы своих крылатых гостей. Пришло и лето. Ваня, в сопровождении Ларивона, посетил прежние любимые места свои; по-прежнему отзывалось в его сердце сердечное биение природы. Но не так часто уж гулял он: Ваня полюбил книгу.

Между тем дом Пшеницына рос не по дням, а по часам. Из ветхого каменного здания между тем сколотили домик, на который надстроили деревянный этаж. Верхний должен был служить для временного житья самих владельцев, нижний назначался для служб[151]. Флигель этот с выведенным уже вчерне большим каменным двухэтажным домом соединили галереею на арке[152]. В нижнем этаже этого дома[153] устроили с одной стороны две огромные кладовые, а с другой

две большие комнаты, одну для залы, а другую для Вани. Пшеницыны хотели переехать на новое жилище, когда получили с нарочным[154] известие, что Илья Максимович умирает.

Застали ещё старика при последних минутах. Он успел только благословить сыновей своих, невесток и внучек. Похороны были великолепные; два дня таскали из кладовой мешки с медною монетою, которую раздавали нищим, запрудившим улицу. Раздел между сыновьями совершился любовно, как сделали бы его промеж себя Орест и Пилад [155]. Что хотелось одному, того не желал другой. Женщину, бывшую при старике и не носившую названия своей должности, выпроводили со двора без уважения, но и без обиды, со всем её скарбом.

Потянулся в Холодную обоз с сундуками, из которых несколько было с «Божиим милосердием», как называет русский человек иконы — самое дорогое своё достояние; другие — с разным движимым имуществом. Всё это едва могло уместиться в двух кладовых. И сами владельцы этого богатства, тотчас по приезде

В Холодную, переселились на новое жилище.



ТЕТРАДЬ II ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ ЛИЧНОСТИ

Характеристику лиц, современных Пшеницыным, Максиму Ильичу и его сыну, начнём с генерации городничих. Не знаю почему, их типы скорее схватываются.

Её открывает Язон, или, как его называли в городе, Насон Моисеевич Моисеенко, пору-

чик[156] в отставке. Ему близ шестидесяти. Маленький, худенький, с лицом наподобие высушенного яблока, с острым носиком, в рыжем паричке, завитом, как руно крымского барашка. Букли и коса[157], всё это маленькое, дорисовывают его портрет. Голос тоненький, пискливый. С характером уступчивым, робким, он боялся граждан, а не граждане его боялись. Принесут ему сахару полголовки, чайку четвёртку, нанки на исподнее[158], полотничко с крестьянскими кружевами, сапожную щётку — ничем не гнушается, всё принимает с благодарностью. Сам ни на что не напрашивается. Разве придёт в лавку да полюбуется иною вещицей, повертит её не раз в руках своих и скажет: «Хорошая вещица!.. Чай, дорога...» (А вещь стоит всего два гривенника[159].) — «Для вас, Насон Моисеич (его уж и не величали благородием[160]), для вас плёвое дело. Позвольте завернуть и уложить на ваши дрожки» (так граждане для приличия называли *войлочки*, род роспусков [161], с войлоком на них)⁽⁴⁾. И принимает он эти приношения и подобные, рассыпаясь в благодарениях и оговорках: «Да зачем это? Да

к чему это?.. я и на грош вам не заслужил. Неравно узнает начальство... лишусь места... отдадут под суд».

Иногда, в крайности, очертя голову отважится на сильнейший куш. Была не была! А после и трусит. Ночь не спит, мучительно ворочается на постели, отмахивается от ужасной мысли, как будто от неотвязчивых мух, да не раз спрашивает кухарку, не слышать ли ревизорского колокольчика, словно у ревизора колокольчик с особенным звоном. Готов с передачею отдать, что получил. Не дождётся утреннего солнышка. Вот и солнце заглянуло к нему в окно. Посылает рассыльного за таким-то, дескать, крайняя нужда. Приходит такой-то, и умоляет он его взять назад: «Батюшка, будь благодетель, ради Бога, развяжи душу. Всю ночь не спал». И возьмёт приноситель, посмеётся, да плюнет в сенях и отнесёт куш письмоводителю[162]. А потом видит Насон Моисеич: ревизор не едет, — и жалко ему станет приношения. Чего бы, думает, не сделал на него? Куш был экстренный — не дождёшься скоро такого.

И крепко призадумается Насон Моисеич, и

грустно ему станет, что не взял хорошего куша.

По части порядка и чистоты в городе не требует, не грозит, а умоляет. Посреди улицы валяется по нескольку дней лошадиная падаль и заражает целый квартал, пока воронья плотоядные не истребят её и ветры буйные не иссушат. Грязь на торгу по колена, дети-нищие тонут в ней (говорят, были две жертвы). Придут благодатные летние деньки с припёком солнечным, когда изжаренная трава хрустит под ногами и на торгу сухохонько. «Вот видите, — умилённо говорит он лавочникам, — сам Бог высушил, инда пыль глаза ест!» — «Простой, богобоязливый человек!» — отзывались об нём граждане и, верно, соорудили бы ему памятник, если б на памятник не потребовалось денег, а можно было бы соорудить его из грязи и костей лошадиных.

Суд творил он коротко и ясно. «Ты, братенько, прав, — говорил он одному, — потому что тебя обидели, а ты прав, — говорил он другому, — потому что он тебя выбранил. Следственно, вы оба неправы. Помиритесь-ка лучше да поцелуйтесь». Помирятся, поцелу-

ются тяжущиеся да выйдут за ворота на широту поднебесную, выбранят городничего на чём свет стоит, затеют опять ссору, вцепятся друг другу в волосы; клочка два-три полетят у каждого: кто кого сможет, тот и прав останется. А иногда и в самом деле помирятся да и запьют мир добрым крючком пенного под веткою оливы в виде ельника[163], прославляя городничего.

Случалось иногда, что Насон Моисеич не на шутку расходится, только не сам собою: на подвиги раскачивал его письмоводитель. Раз как-то ссора двух граждан оканчивалась подобною мировою сделкой. Но вот письмоводитель по секрету зовёт Насона Моисеича в ближнюю комнату. «Что это вы, ваше благородие, делаете? Вы, ваше благородие, настоящая мокрая курица. И так вами в городе словно тряпицей потирают. Этак с вами и служить нельзя». И вот Насон Моисеич, прищипленный такою речью, встаёт на дыбы, входит в азарт и, сдёрнув на одно ухо свой рыжий паричок в завитках, бросает гром и молнию в камере судилища. Прикажет ответчика наказать за то, что виноват, а правого, чтобы впе-

рѣд не ходил жаловаться. «У меня в городе всё тихо, и муха не смеет ворчать. Ни гу-гу! Настоящее благословение Божие! — говорил он, гневно ходя вокруг стола. — А тут какой-нибудь вольнодумец, беспардонный, вздумает мутить, да ябедничать, да в доносы ходить! Пожалуй себе, и прав, и очень прав, да зачем нарушать спокойствие граждан? Не тобою город начало имеет, не тобою и стоит. Пускай стоит, как стоял!» Письмоводитель, с упоением сердечным подслушивая у дверей, ждёт своего сыра[164]. Позовёт к себе тяжущихся и накажет только того, который не смог заплатить выкупные. Вследствие такого премудрого суда, и дел за нумерами в полиции очень мало оказывалось: всё делалось больше на словах и на палках[165]. К чести Насона Моисеича надо оговорить, что последнее делопроизводство он употреблял очень редко, и то когда письмоводитель раскачает жёлчь со дна этого чистого сосуда.

Наконец приехал в город, десять лет с таким страхом ожидаемый, начальник-ревизор. Ужасные дни! Они отняли у городничего несколько лет жизни. Ревизор был человек

добрый, приятный; в бумагах много не рылся, за очисткою нумеров не гонялся[166]. Узнал, что городничий человек непритязательный, с живого и мёртвого не драл, жалоб на него не имелось, и остался всем доволен и благодарил. А всё-таки, пока его особа пребывала в городе, Насон Моисеич чувствовал себя неловко, как будто и чужой мундир надел, и рыжий паричок скоблит его череп. То словно его крапивою посекут, то в ледяную ванну опустят. Надо было видеть, с какою дипломатическою тонкостью ехал он с начальником на дрожжах[167], которые выпросил у предводителя![168] Балансёр, да и только!.. Угораздило его сидеть на корточках, в таком виде, как громовая стрела изображается на картинках, зигзагом. Одною рукою держится за ободок козел, другую, как заяц подстреленную лапку, покачивает на воздухе, а носками сапог упирается в подножки, не смея ни одною частью своей персоны прикоснуться к подушке. Ещё бы! На этой подушке восседит важная особа, которой одно мание бровей, как у громовержца Юпитера, может смять его в прах и оставить без куска хлеба. «Видно, Господь умуд-

рил его сидеть на дрожках не сидя за его добрую душу!» — говорил голова[169], ехавший за ними в своей линеечке.

Всё, казалось, шло хорошо. Но ревизор пожелал видеть временную арестантскую при полиции. Вот ведёт Насон Моисеич, немного окураженный, великую персону к сенцам и останавливается у дверей. «Извольте головку наклонить, — говорит он, — не стукнуться бы лобиком о косяк». Преддверие тюрьмы не представляет ничего страшного. Вместо орудий казни в глаза бросаются одни любезные, идиллические предметы: ненакрытое ведро с водою и плавающий на ней ковшик с изумрудными букашками, стопочки две-три дров, небрежно развалившиеся, онучки[170] сторожа, растянутые для просушки против сквозного ветра, жиденьякая метла, которую, как видно, очень обижали, вытаскивая из неё прутья для чистки платья или на другое употребление. Ключ к месту заключения у самого Насона Моисеича; он держит его в мундире, у сердца своего, как и подобает[171]. Вот прикладывается ключом к огромному замку, но ещё раз умильно оборачивается на своего

начальника и предостерегает его, чтоб он был невзыскателен, арестанты-де грубый и невоспитанный народ. «Сколько у вас здесь арестантов?» — спрашивает ревизор. «Только три человека, ваше (и прочее), — отвечает градоначальник, — здесь не только злодеяния — и моральные проступки очень редки. Мораль между жителями примерная!» Надо заметить, что на французских словечках он очень упирал: дескать, знай наших.

Входят в арестантскую. Это большая изба; половину её занимает русская печь, сколоченная из глины. Ревизора обдаёт атмосфера, от которой он напрасно старается освободиться, то отдуваясь, то отплёвываясь, то зажимая нос. В избе никого не видно. Насон Моисеич со страхом осматривает всё кругом и тоненьким, пискливым голосом окликает арестантов: «Арестанты! Арестанты! Где вы?» — Нет ответа. Он ищет глазами, носом, всем своим существом, заглядывает во все углы, под нарами, на печке, в подпечье, в печурках; взывает опять жалобным, отчаянным голосом, как будто зовёт свою Эвридику[172]: «Арестанты! Где вы?» — Нет арестантов. Ревизи-

зор помирает со смеху. В это время является письмоводитель, чтобы развязать узел этой ужасной драмы. На носу его, толстом и красном, торчат нахально два стёклышка в медной заржавленной оправе; голова его, прилично наклонённая, дрожит, руки также трясутся, но не от страха... Нет, это чувство ещё никогда не колебало такой души, привыкшей к ежедневным подвигам. С приходом его вносится густая струя воздуха, налитанного вином и луком. Отрывистым, но твердым голосом, как человек самостоятельный, знающий своё дело, он объявляет, что ещё рано поутру выпустил арестантов, потому что на деле они оказывались невинными. Как сделал этот фокус ловкий письмоводитель, когда ключи были у городничего, — это осталось покрыто густою завесой тайны. Снисходительный к слабостям человеческим, ревизор и не взял на себя труда её исследовать. Кончилась вся история одним смехом главной персоны. Но на городничего она так подействовала, что он, по отъезде ревизора, слёг в постель и не вставал с неё более.

Во время болезни всё бредил арестантами

и взывал жалобным голосом: «Арестанты! Где вы?» Перед смертью пришёл в рассудок, исполнил свои христианские обязанности, попросил у всех прощения, в чём кого обидел, не намекнул даже письмоводителю, что умирает от его руки, и завещал похоронить его в рыжем паричке, чтобы в гробу ему не было стыдно.

За гробом шло много народу. За ним следовал письмоводитель, держа шпагу в руках, печальный, понуря голову, как, бывало, в рыцарские времена верный конь, носивший своего господина в боях и на турнирах, следовал за носилками его, чтобы положить свои кости в одной с ним могиле. Купечество сделало богатые поминки, стоившие больших денег; ели и пили много в память своего бывшего благодетеля. Но когда (по приглашению Максима Ильича) приступлено было к подписке на уплату его долгов, которых оказалось рублей на шестьдесят по счетам (может, и с некоторою добросовестной приписочкой на умершего), все отозвались, что и так много потратились на вина и прочее угощение для покойника. Вследствие чего Пшеницын один

взялся уплатить долги и содержать старушку кухарку, крепостную его женщину, оставшуюся без крова и куска хлеба. Кухарка, как увидим, наделала много хлопот своему благодетелю.

Сделали верную опись оказавшемуся после покойника имению; присяжные ценовщики[173] оценили его в 36 рублей 27 и $\frac{3}{4}$ копеек. Но как наследников налицо не оказалось, то и приступили к вызову посредством публикации, не означая цены имению. Между тем нанята каморка для хранения вещей и отдана лошадь в полицию, чтобы содержать её по положению. Войлочки взял себе на память писмоводитель. Через год наследники отыскались. Но когда они потребовали имение или деньги по выручке за него с аукционного торга, то оказалось, что с них следует дозыскать, сверх вырученной суммы, ещё рублей двадцать пять и столько-то копеек с дробями за наём комнаты для хранения вещей и за содержание лошади. Дело об этом тянулось лет десять, и на него изведено бумаги на сумму, которая превышала самое взыскание. Кухарку, попавшую тоже в опись, за старостью

лет никто не согласился взять.

На безыменной земляной насыпи, под которою навсегда почил Насон Моисеич, поставлен деревянный крест усердием кухарки, и ею же творились по нём поминки. Но и те скоро замолкли. Только неизменные с веками солнышко и месяц попеременно да звезды рассыпные приходят и поныне голубить своими лучами могилку его, как и прочих братьев, почивших на общей усыпальне; только ветры непогодные прилетают на неё с своими заунывными песнями и гуляют покойников в их смертной колыбели. Ещё чадолюбивая церковь не перестаёт ежегодно поминать всех их в общей своей молитве. Бог знает, и могилка-то Насона Моисеича *его* ли нынче?.. Может быть, два-три новые вечные жильца пришли занять её и потеснить в ней кости бывшего начальника целого города.

Не знаю, какой дурной человек выучил Ваню разыгрывать роль городничего, отыскивающего своих арестантов. Все помирали со смеху, когда мальчик, щуря глаза и ныряя по сторонам, взывал тоненьким, пискливым голосом: «Арестанты! Арестанты! Где вы?» Но

Ларивон скоро прекратил эту комедию, сказав Ване, что стыдно и грешно передразнивать покойника.

После Насона Моисеича принял бразды правления какой-то коллежский секретарь [174]. Он был из числа тех господ, которые носят романическое имя и половину фамилии своего отца [175]. Назовём его просто Модестом Эразмовичем. Это был человек порядочно образованный по-тогдашнему, писал отличным почерком по-французски и даже сочинял русские стихи. Презентабельная наружность говорила в его пользу. Он всегда был одет щегольски. Так и сияло от него перстнями, золотом массивных цепей с разными побрякушками и дорогими булавками в виде пылающего сердца, колчана с стрелами и голубя, несущего во рту письмо. Особенно имел он искусство, даруемое только некоторым избранныкам, поражать взоры ослепительным блеском солитера [176] на указательном пальце.

Разница в управлении городом между двумя начальниками была неизмеримая. Предшественник никогда ни на шаг не отлучался

из города, под опасением, что его расстреляют, если он нарушит это правило; а преемник почти никогда не бывал в городе. Первый тряся на войлочках, окутав ноги тряпицей, а второй спокойно ездил на дрожках, ничем не покрывая глянцевитых своих сапог. Один имел письмоводителем низенького старичка, с носом в виде кровяной колбасы, на котором нахально торчали два стёклышка вроде очков, а другой привёз своего письмоводителя, высокого, средних лет, с орлиным носом, у которого кончик был очень бел, как бы отмороженный, но заметьте — с носом, не терпящим никакого ига. У одного письмоводитель пил горькую и закусывал луком, у другого пил сладкую и замаривал водочный запах гвоздикой и амбре[177]. Секретарь Насона Моисеевича делал только свои дела, а секретарь Модеста Эразмовича — домашние и служебные дела свои и своего начальника с неутомимым рвением и преданностью, отчего расходы просителей и вообще граждан получили быстрое развитие и преуспеяние. Сначала жители ощутили эту разницу, немного втайне пороптали, но, едва прошло несколько

недель, по привычке к новому ходу дел, как привыкает ко всему человек, сумевший ужиться и между льдами полярными и под зноем тропиков. Впрочем, как скоро новый писмоводитель ознакомился с жителями, а ещё более вник глубоко в статистику их состояний, он очень уравнительно, по правилу товарищества, *обложил* каждого, не обходя и сумы нищего, а купцы *наложили* маленькие проценты на товары и съестные припасы. Вскоре граждане обучились считать городничего и его штат какою-то законною повинностью. Нового писмоводителя начали также провозглашать благодетелем человечества и говорили при этом: «Вот и Насон Моисеич, дай Бог ему царствие небесное! Уж не добрая ли была душа... а всё-таки бывало гнёт на закон. Всё упрашивал, чтобы купцы не скупали ничего за заставами. Это, говорит, какое-то манноболе! Видно, по-малороссийски или по-чухонски[178], прости Господи! Неравно, говорит, приедет ревизор, меня и вас всех упечёт под суд. Толку что в нём, что честный — ни себе ни людям! А этот — молодец, никого не боится, любит взять, да и нашему

брату любит дать поживу».

Новый благовоспитанный городничий был очень далёк от всех этих проделок. Попробуй принести — турнёт, что и своих не узнаешь. Он сердито на словах гнал взяточничество и даже написал оду на лихоимство [179], где представил его во образе какого-то ужасного чудовища, пожирающего собственных детей. А вздумай кто жаловаться на письмоводителя — пугнёт так, что ступеньки все на лестнице его пересчитаешь. Не пожалет и солитера!

Так жители забыли добрейшего Насона Моисеича и обращались к Модесту Эразмовичу только с высокаторжественными поздравлениями, в том числе и в день его ангела.

Как выше сказано, новый городничий большую часть дня, иногда и ночи, проводил вне города. Почти каждый день ездил он к какой-то графине, жившей врознь с мужем, в богатом поместье, за несколько вёрст от Холодни. Её протекции обязан он был своим новым местом и за то в благодарность исполнял при ней должность домашнего секретаря. А так как графиня занималась сочинением

французских романов, довольно многотомных, которых рукописи любила иметь в нескольких экземплярах, то и записывался он до изнеможения сил. В нынешнее время графиня взяла бы в секретари француза, но тогда в России иностранцы были редки, особенно трудно было их найти для должности домашнего секретаря. Всё были старые роялисты!.. [180] Собираясь к графине, чтобы явиться к ней в приятном виде, он часа два тщательно занимался туалетом своим: чистил себе ногти, артистически обдελывал свои букли, помадил губы, пудрил лицо, надев свой солитер, долго любовался им и т.п.

Сверх того, Модест Эразмович страстно любил охоту с ружьём. Стрелял он так метко, что попадал в серебряный пятак. Письмоводитель, которого он определил в эту должность за то, что несколько лет таскался с ним по болотам и носил застреленную дичь, хотя и славился тоже мастерской стрельбой, попадал только в медный пятак [181]. Может быть, как политичное лицо, он немного кривил ружьём и душой, чтобы не помрачить славы своего начальника. Новый городничий посвящал

также несколько часов сочинению стихов. Стихи эти, большей частью эротические или любовные, как их называли, ходили между властями по городу и даже губернии. Немудрено, что многие из его песен дошли до нас в песенниках того времени и те, которые считаются лучшими в этих сборниках, принадлежат, конечно, тогдашнему городничему. С дамами мог бы, но боялся быть очень любезным, потому что люди, при нём в услужении находившиеся, принадлежали графине.

Так как он обретался более в уезде, чем в городе, то и прозвали его уездным городничим. В этом названии, как и во многих других, довольно метких, был виновен добрейший Максим Ильич Пшеницын, который, несмотря на свой кроткий, миротворный характер, любил почесать язычок на счёт других. Это была врождённая слабость, за которую он не раз дорого платился и однажды едва не подпал большой беде[182].

Уездный городничий ласкал Ваню и имел отчасти влияние на его воспитание. Модест Эразмович научил его первым правилам стихотворства и декламации[183]. Ваня с одушев-

лением и верно читал его стихи перед многочисленной публикой и даже раз произнёс русский акростих[184], заранее переведённый на французский язык, перед поэтической графиней, которой городничий представил его как ранний талант. Ваня декламировал стихи «с толком, с чувством, с расстановкой»[185], и графиня наградила ранний талант поцелуем и французским молитвенником в роскошном переплёте. *«Будь добродетель, имей нрав чист и благочесть»*,⁽⁵⁾ — сказала Ване русская графиня и дала городничему поцеловать свою ручку в знак благодарности, что привёз такого милого цитатора стихов. Надо сказать, что эта высоконравственная женщина, покинувшая своего мужа за его беспутную жизнь, когда ей было гораздо за сорок лет, одевалась иногда в подражание островитянкам Тихого океана — в каком-то лёгком, полувоздушном пеньюаре, обрисовывавшем очень хорошо её роскошные формы.

Раз зашла откуда-то в Холодную цыганка-гадальщица и предсказала, что городничие тамошние не будут долго сидеть на месте. Как сказала, так и сделалось. Через два-три года

Модест Эразмович очень захирел, вышел в отставку и отправился с графиней поправлять своё здоровье на какие-то воды, изумительно восстанавливавшие силы.

Преемником его был титулярный советник[186] Герасим Сазоныч Поскрёбкин, собою молодец, и ростом и дородством взял. Грудь широкая, व्या хоть сейчас под ярмо[187], глаза как у рыси, спокойствие и твёрдость невозмутимые во всех трудных обстоятельствах жизни. Он был женат на приёмыше какой-то знатной особы, под покровительством которой и состоял. О! этот далеко обогнал своих предшественников. Надо сказать, что он, сколько известно было, служил прежде каким-то полицейским чиновником по пожарной части и потерял это место за неблагоприятные дела, потом проходил служение в каком-то месте вроде экзекуторского[188].

Здесь обнаружил он широкие способности к экономии. Так, отпуская на канцелярию свечи, сберегал из них некоторое количество, не только для своего домашнего обихода, на что начальство посмотрело бы сквозь пальцы, но и для дешёвого распространения саль-

ного света по городу. Это бы ещё ничего. Слабость к сальным свечам!.. Вот, например, что может быть гаже зелёного фонарного масла? Что ж делать, я имею слабость к зелёному фонарному маслу. Зелёное масло, особенно когда оно горит *petit jour*[189], производит на меня какое-то магическое действие. Вы не поверите? Право, не шучу. Впрочем, не я один с таким странным вкусом: в каждом порядочном городе вы найдёте мне товарища гебра, поклонника фонарного огня, горящего от зелёного масла[190]. Затем Поскрёбкин имел слабость к бумаге. Отпуская бумагу канцелярским служащим, удерживал он утончённым хозяйственным образом из каждой дести по несколько листов, а из каждой стопы по несколько дестей[191]. Таким образом, в известный период времени, накапливалось достаточное количество стоп, которые, заведомо краденные, покупали у него мелкие торговцы. Для избежания чего начальство вынуждено было накладывать на бумагу штемпель того места, которому принадлежала бумага. С дровами опять экономия! Из каждых двух покупаемых сажений[192] выводил он

три, а когда недоставало дров, рубил на отопление и заборы.

Поскрёбкин был человек ловкий, умел угождать. То на паперти выхватит ковёрчик из рук выездного[193] за женою своего начальника. Она в церкви, а уж под ноги её Герасим Сазоныч стелет ковёрчик и награждён улыбкой. То при выходе её из театра он первый прокричит: карета ваша подана! Тут приветливое кивание, а он успеет хоть подол салопа [194] её посадить в карету да ещё дружески раскланяться с выездным, которого когда-то употчевал в трактире. «Какой прекрасный, услужливый человек этот Поскрёбкин!» — говорила жена начальника своему мужу. И швейцар первой особы в городе жмёт «с своим почтением» щедрую руку ловкого человека. Случится ли пожар — он тут, хотя и не его дело, и первый в глазах начальника зажмёт мощною рукою то место пожарной кишки, которое прорвалось. На другой день начальник видит его с обожжённым ухом или с подвязанною рукою. Он хвастался, что, когда был на службе в какой-то глухой губернии, никто лучше его не умел управлять

кишкою пожарной трубы. Особенно мастер был на это дело в угождение какого-то главного начальника, который, катаясь с ледяных гор, приказывал опрыскивать из трубы каждого, кто осмеливался смотреть на его забавы.

Но, увы! Несмотря на все эти угождения, начальник, увидав, что хозяйственные таланты Поскрёбкина всё более и более совершенствуются и принимают ужасающие размеры, сначала говорил, что постыдно так воровать. Потом, видя, что эти учтивые намёки не помогают, сказал ему наедине, в кабинете, что он плут, вор, мошенник и что нельзя с ним служить. Поскрёбкин, с благородным достоинством ударяя себя в грудь, отвечал: «Ваше!.. (и прочее: надо заметить, что он своих начальников величал всегда одною степенью выше, нежели какую они имели) извольте обижать меня понапрасну. Ей Богу, понапрасну! Я вором и мошенником никогда не был. И на что мне? Я сам имею состояние — деревушку в Расторгуевой губернии; довольствуюсь малым». Начальник, высчитав все хозяйственные его проделки, очень вежливо опять повторял прежние деликатные имена и про-

сил сделать ему одолжение — избавить его от служения с ним. Тут Поскрёбкин, показывая на угол комнаты, восклицал ярким, басистым голосом, вылетающим из широкой груди его: «Чтоб мне сальным огарком подавиться! Утроба моя разорвалась бы от одного листа бумаги! Детей моих перебило бы поленом дров! [195] Вы изволили видеть, жена моя беременна... чтоб она родила бревно вместо живого ребёнка, если я посягнул на разорение хоть одного столба в заборе!.. А я ещё уповал (тут он говорил более жалостным голосом [196], фистулой [197]), что ваше (и прочее), как всегдашний мой благодетель и отец, удостоите быть у меня крёстным отцом! Помилуйте! Каким-нибудь куском сала или ветошным отребьем захочу ли марать свою честь!» Потом начинал кулаком утирать слёзы, упрекал в клевете своих недоброжелателей, которые будто требовали от него *акциденции* [198], да он, помня присягу и долг благородного человека и верного сына отечества, не посягнул на такие гнусные дела. «Чтоб им так сладко было, как мне теперь, перед лицом великодушнейшего и благороднейшего из началь-

ников! Ежедневно молю Господа за здоровье ваше и вашей супруги... Божественная женщина!.. Чтоб Господь даровал вам хоть одно дитище на порадование ваше! Помилосердуйте, ваше (и прочее). Жена, куча детей, мал-малым меньше... пить, есть надо...» Говоря это, Поскрёбкин думал, как искусный оратор, какую мимику употребить в пособие своему красноречию. Поцеловать у начальника руку? — неравно ткнёт его в глаз огнём сигары. Броситься в ноги? — оттолкнёт, как гадину, концом своего сапога. И не решился ни на то, ни на другое. А начальник думал: настоящий разбойник! Как бы ещё не задушил!.. Однако ж порешил это дело тем, на чём его начал: Поскрёбкин должен был выйти в отставку.

Недолго, только полгодика, томился он в ней. Жена бросилась к своей покровительнице, расплакалась, жаловалась на несправедливость начальства, на коварство и недоброжелательство клеветников и наушников и успела до того разжалобить сильную особу, что та обещала ей свою протекцию и даже назвала бывшего главного начальника Поскрёбкина человеком без сердца, злодеем. «Un

homme sans foi, ni loi»[199], — прибавила она, обратясь к сидевшему у ней генералу. Даже, говорят, попрекнула гонителя бездетностью.

И вот Поскрёбкин городничим в Холодне. Здесь представился широкий кругозор его наклонностям; начальства для него в городе не было. «Гуляй, мой меч!»[200] — сказал бы он, если б знал стихи из новейших трагедий. Тут начались у него — ведь голодал шесть месяцев — ненасытные припадки каких-то appetitов. То появятся appetиты на сахар, осетрину, стерлядь, лиссабонское[201] и прочие съестные и питейные припасы; то на сукно или материю для жены. Давай то и другое, пятое и десятое. Беда, коль не заморить этих прихотей. Берегись тогда первый купец, попавшийся ему на глаза: сейчас оборвёт, да ещё хуже что б не наделал. «Пожалуй, чего доброго, подлец и впрямь обесчестит, наплюёт в глаза!» — говорит торговец, который успел ему подвернуться. И несёт с низким поклоном от усердия своего. Наконец вкусы Поскрёбкина до того стали разнообразиться, что слюнки у него потекли на всё, что жадным глазам его только полюбится, даже на коров,

на лошадей. Может быть, со временем пришёл бы аппетит и на домик; но, как увидим далее, Максим Ильич умел разом пересечь припадки его бешеного обжорства.

Ездил Поскрёбкин, развалясь в крытых дрожках, на чубаром иноходце с такою же пристяжною[202], которая завивалась кольцом и ела землю. Вот увидел он у Максима Ильича кровного серого рысака; спит и видит: достать рысака. Вихрем прокатит на нём хозяин; кажется, так и топчет им городничего.

— Воля твоя, — говорит Поскрёбкин Максиму Ильичу, — уступи, брат, серого коня. И во сне меня мордой пихает. Аппетит на него такой припал... слышь (тут он взял руку своего собеседника и приложил ладонь к желудку), так и ворчит: подай ры-са-ка! Не дашь — свалюсь в постель, будешь Богу отвечать. Я ли тебе не слуга?

— Поворчит, — отвечал Пшеницын, — да и перестанет, а я тебе по этой части не лекарь. Серого коня любит жена: не отдам ни за какие деньги.

— Ой ли?

— Сказал.

— Последнее слово?

— Решительное.

— Ну, смотри, брат Максим, доеду.

— Доезжай, а я покуда поеду на рысаке.

Ещё будь раз навсегда сказано: бесчестных и незаконных дел не делаю и не только тебя — *никого* не боюсь.

— Помни ты у меня эти слова! — сказал Поскрёбкин и погрозил своим пальцем, как жезлом.

— Никогда не забываю; готов повторить и повыше кому.

С того времени городничий и рвёт, и мечет, и кипит гневом на Пшеницыных. Ещё более разожгли его следующие случаи. На другой день в церкви у обедни Прасковья Михайловна стала впереди городничихи, а после обеда проехала мимо окон её на лихом сером рысаке, в новых щегольских дрожках. Мелькнула молнией, и сердита и блистательна, да ещё обдала городничиху, будто в насмешку, облаком пыли.

— Купчиха лезет вперёд! Я всё-таки начальница города, — говорила жена городни-

чего. — Воля твоя, это афронт[203]. Я этого не потерплю, я напишу к моей благодетельнице. Как хочешь, Герасим Сазоныч, ты у меня упеки её в тюрьму, чтобы не хвалилась; не то разведусь с тобой.

Выжидая случая подкосить Максима Ильича, как говорил Поскрёбкин, он продолжал безбоязненно свои подвиги. Так забывают этого рода люди свои прежние невзгоды, иногда нужду, холод, голод, страдания целого семейства, лишь только на новом месте удаются им новые незаконные приобретения. Так-то бывает... Придёт беда — люди охают, стоят, обещают исправиться, обновиться и просветиться добром; пройдёт невзгода — забывают всё, и опять принимаются за старое, и опять погрязают в тине невежества, в негезяточничества.

Приведут в полицию краденую лошадь с вором — конокрада выпустят, а похищение рано или поздно делается достоянием Поскрёбкина, словно он всеобщий наследник. Является за лошадью хозяин-крестьянин. Он обегал более ста вёрст по разным уездам, упустив дома важные полевые работы, от кото-

рых живёт целый год, растряс на мошенников и колдунов последние свои деньжонки, чтобы указали ему только на след *живота* его[204]. Услужливо ему выводят лошадь из полицейской конюшни. Скотина его, по всем приметам, описанным в явочном объявлении![205] И масть та же, и конец уха так же обрублен, и грива лежит на ту же сторону, как у пропавшей лошади. Его, да не его. Жена притащилась с ним и дочерью выручать своего доброго воронка[206]. И они также признают её. «Вот, — говорит старушка, — и сама признала нас; заржала, кормилица, и мордочку к нам протянула, только нас завидела. В какой стороне была ты, моя голубушка? По каким мытарствам не водили тебя? Чай, не вовремя попоили, не всласть накормили, а может, и вовсе целый денёк была не евши. Легче б нам самим без хлебушка оставаться». И начнёт старушка причитать разные нежности своему животу и выть над ним. Дочь подставляет руку свою под морду лошади, и та лижет руку, которая привыкла её лакомить краюхами хлеба, посыпанного солью. «Наша, да и только, матушка», — говорит девка и от

радости целует воронка. Действительно их лошадь, а выходит не их. У их лошади на одной ноге белое пятнышко, а у этой вся нога словно в чёрный чулок обута. Опытный глаз увидел бы, что пятно покрашено чёрною краской. В явочном объявлении стоит белое пятнышко на ноге. «Так ли, мужик?» — спрашивает беспристрастный письмоводитель. «Так, батюшка, грешить нече», — отвечает горюн. Где ж мужику признать косметическую подделку?.. Приходит отступиться. Почешет старик голову, почешет грудь[207], горько вздохнёт да поохает с старушкой, а делать нечего — знать, лукавый подшутил над ними. Но девке не так легко расстаться с воронком; видно, натура молодая и неопытная! Обвила шею его своими мощными, загорелыми руками и замерла на ней, несмотря на брань полицейских служителей! Рыдая, говорит она: «Наш, свято слово, наш! Не расстанусь с тобой, рódный мой, кормилец ты наш!» И пуще прежнего сжимает шею коня в своих объятиях. Позвали городничего. Мигнул он двум бравым молодцам... Разом оторвались от лошади две девичьи руки, как две гибкие ветви моло-

дой березы, дружно сплётшиися; хотели было молодцы куда-то потащить девку, да... взглянули на городничего. Тот махнул рукой, плюнул и скрылся, чтоб неравно не случилось при нём какого несчастья. Девка лежала полумёртвая на земле, пена клубом была у ней изо рта...

Таким образом и другими фокусами краденые забеглые лошади поступали в собственность Поскрёбкина. Также и краденые самовары, кастрюли, оловянная посуда, якоря, рогожи, бечёвки, всё ценное и неценное поглощалось ненасытною утробой его. В известный, благоприятный период времени, под укрывательством волчьей ночи, все эти вещи укладывались в краденую телегу, в которую запрягали лошадь неотысканного хозяина, и отправлялись с верным служителем в деревушку Герасима Сазоновича, род закутки, укрытой лесами и охраняемой болотами. Так понемногу из песчинок невидимо слепливаются дома и большие состояния!

Случилось однажды богатому купцу, по неведению ли законов, по намеренности ли, сделать какой-то проступок. Виноват, да и

только. Приходило ему худо, и добрые люди присоветовали ему отнести сотнягу рублей Герасиму Сазонычу. Так и сделал купец. Главный советник его по этому делу дал знать Поскрёбкину о куше, который ему готовится, и о часе, в который сделано будет приношение. В это время остановилось в городе, по болезни или по домашнему делу, значительное лицо. Вот приходит *по секрету* к городничему виновный купец. Ласково принимают его. Он осторожно затворяет за собою дверь и, объяснив, что у него есть такое и такое-то дельце, просит пощады; вместе с этим осторожно, с низкими поклонами, кладёт на стол куверт [208], немного отдувшийся. Для вящего эффекта положены в него всё синенькие. Надо было видеть, как гневно привстал Поскрёбкин во всю громадную высоту свою, как он вскипел гневом, швырнул на пол куверт так, что бумажки разлетелись, и закричал громовым голосом, потрясшим стены: «Что это?.. Подкупать?.. Меня?.. Разве я взяточник?.. Поклянёшься ли, что я брал от тебя когда-нибудь?.. Под колоколами спросят [209]. Разве я не присягал служить, как подобает верным поддан-

ным?.. Господа, прошу засвидетельствовать». А тут как тут выросли из земли три свидетеля. Впереди сам страж законов, богобоязливый старичок, с постным лицом, выплывает мерно и ныряя головой, точно утка с своими утенятами скользит по зеркалу пруда, где рыболовы закинули невод. Он смиренно делает какие-то знаки рукой на груди, словно готовится на какое-нибудь благочестивое дело. За ним невозмутимо выступает своим брюшком купец, тоже должностное лицо. Он держит пальцы правой руки, налитые брагою, между петлями сюртука. Сзади, господствуя над всеми взъерошенной головой, выказывает свой острый, бекасиный носик надзиратель [210], испитой, длинный и прямой, как верстовой столб. В его глазах видны одно холодное бесстрастие и строгое исполнение своего долга. Он знает, что от сладкого пирога ему достанутся только корки.

Улика налицо. Купец помертвел и бросается в ноги городничему. «Не погубите, ваше благородие, — вопиет он отчаянным голосом. — Не сам собою, помutilи худые люди». Нет пощады! Записать в журнал, да и только;

отослать деньги в пользу богоугодного заведения![211]

В ту же минуту — с быстротою электрического телеграфа, сказал бы я, если б электричество было тогда изобретено, и потому скажу — с быстротою стоустой молвы честный, благородный, примерный поступок Герасима Сазоныча разносится по городу и доходит до ушей значительного человека, который, по болезни или по домашним обстоятельствам, остановился в городе. Значительный человек в неопisanном восторге от этого неслыханного подвига, желает видеть в лицо городничего, чтобы удержать благородные черты его в своей памяти, рассыпается в похвалах ему, говорит, что расскажет об этом по всему пути своему, в Петербурге, когда туда приедет, везде, где живут люди. Мало — надо непременно в газетах напечатать об этом во всеобщее сведение, на поучение всем городничим и прочим правителям. С такими высокими мнениями о Поскрёбкине и чувствами удивления к его душевным качествам значительный человек уезжает из Холодни. Чем же всё это оканчивается? Чтобы замять и потушить дело, ку-

пец вносит уже, по секрету, не сто, а пятьсот рублей, да ещё задаёт на славу обед. Никакое богоугодное заведение не записывало у себя на приход ни одной копейки из этих денег. Надо прибавить к чести Герасима Сазоныча, он на этот обед не явился, но уговаривал всех ехать, говоря, что купец человек прекрасный, только опростоволосился по наущению недобрых людей, желавших его погубить.

Раз как-то на двор к Максиму Ильичу въехала лихая тройка одной масти. Под дугою гудел заливным звоном валдайский колокол; бубенчики лепетали разными звуками, мастерски подобранными от самого тоненького до самого густого. В звуках этих был какой-то музыкальный строй. Покромка красного сукна обвивала сбрую на лошадах; медь в бляхах, звёздах и полумесяцах, казалось, должна была сдавить коней. Пёстрый, с азиатскими узорами ярких цветов ковёр упал с кресел пошевень[212] почти до земли. Всю ширину пошевень занимала огромная медвежья шуба, и поверх её торчала, похожая фигурой на башню с куполом, высокая шапка из серых мерлушек[213] с бархатным верхом зелёного цве-

та. Кучер был в нагольном тулупе[214], выдавшем разные виды и непогоды на своём веку и потому носившем какой-то неопределённый цвет, не то жёлтый, не то красный, не то буропегий. Рядом, свесив с кучерского места ноги в холодных сапожках, которыми изредка постукивал один об другой, сидел мальчик лет тринадцати, стриженный в кружок. Он также был в овчинном тулупчике, только совершенно новеньком, что можно было не только видеть по мучистой белизне его, но и слышать по запаху. Нарядом своим он очень занимался; это заметно было из движений его рукавов, которые поднимал попеременно, смотря на них с особенным удовольствием. Казалось, он любовался в них сам собою, как в зеркале. На голове у него нахлобучена была высокая шапка из порыжелых мерлушек, беспрестанно наезжавшая ему на лоб. Вероятно, её сняли с большой головы, взявши, однако ж, предосторожность удержать её по возможности на мальчике, о чём можно было также догадаться по нескольким веткам сена, упорно выползавшим из-под шапки. Тройка лихо завернула к крыльцу. Ваня играл в это время

на дворе в снежки.

— Что, дома тятенька? — спросила медведья шуба.

Это был исправник[215] Трехвостов.

— Дома, — сказал Ваня и побежал к отцу повестить о приезде госте. После того он уже не показывался в гостиной, потому что всегда чувствовал какой-то страх к Трехвостову.

И немудрено. Трехвостов был мужик ражий[216], широкоплечий, но сутуловатый. Оспа так обезобразила его лицо, как будто первоученик портной вывел на нём суровыми нитками грубые швы и рубцы и выковырял толстою иглой брови и веки. Слеза всегда была у него из глаз, как у старой оболонки. Голос его, казалось, выходил не из груди, а из желудка. Правда, он считал этот орган едва ли не лишним. Вся беседа его обыкновенно происходила в нескольких словах, произношение которых иногда сбивалось на сдержанное мычанье коровы. До смысла их слушатели доходили с трудом, да и не гонялись за смыслом, зная, что его не оказалось бы много, если б он изъяснялся и в более обширных размерах. В уезде называли его прекрасным че-

ловеком, а он считал себя честнейшим, потому что не брал от дворян взятки деньгами, а разве некупленными съестными припасами для себя и лошадей. Пощечиться[217], где можно, от казны и купцов — дело другое. «Что им? Богаты!» — говорил он. От крестьян любил только угощение. — «Добрейшая душа! — говорил в одной деревне староста[218], у которого торчала одна половина бороды (русский человек незлопамятен), — только больно сердцем горяч». Бывало, разъярённый, заскрежещет зубами, казалось, съест тебя, даст волю кулакам, того и гляди убьёт, а за ключком бороды, как староста, уж и не гоняйся. Зато сердце скоро и сбежит словно с гуся вода. Опомнится, снимет перед битым шапку да ещё поцелует его. «Не взыщи, брат, — молвит он, — больно горяч! Так матушка уродила». Надо сказать, что у русского мужика голова вылита будто из чугуна. Лежит себе на печке, а серо-зелёная мгла угара стоит с потолка по пояс избы. Ему ничего, тогда как у вас в этой избе в две-три минуты затрещит череп. Посмотришь на сельских праздниках: пьяный мужик за углом клетки[219] замертво

валяется, в ужасном виде; голова проломлена, кровь бьёт из носу и ушей. Пьяный ли, падая, ударился об угол клетки или подвизался в рукопашном бою? — кто его знает. Только и думаешь послать было скорее за лекарем да за попом. «Э, батюшка, не тревожьтесь напрасно, — говорит брат или сын родной, — бывалое дело!» И подлинно, не для чего было тревожиться. Окажут холодной водой, а иногда дело и без того обойдётся; сделает богатырскую высыпку на полсутки без движения, потом встанет как ни в чём не бывало да только попросит опохмелиться.

Любил-таки покушать Треххвостов. Еда для него была всё равно что жвачка для коровы. Чего, и в какое время дня и ночи, не был он в состоянии проглотить! Не раз случалось, что он бывал на двух закусках и двух обедах, через час на каждом. Он ел и пил за вторым обедом так же аппетитно, как и за первым. По окончании последнего говорил иногда: «Много ли надо человеку, чтобы сыту быть!» Последствий от таких пресыщений никогда не случалось, кроме двух-трёх лишних часочков сна — хоть на кочке болотной или в полдень

на солнечном припёке. Зато мог, как верблюд, оставаться по целым суткам без еды. Разве заморит червяка коркою хлеба, посыпанного солью едва ли не в толщину самой корки. Делавшим ему в этом случае замечание, почему он своей провизии никогда не возит, отвечал: «А на что ж я и исправник!» Но испытывать эту диету случалось ему очень редко, и то разве в дремучих лесах, на ловле разбойников. Когда он приезжал на следствие, головы, старосты и приказчики [220] угощали его отборными сельскими яствами на убой и питиями до положения.

Велел Пшеницын принять гостя.

Пыхтя ввалился он в гостиную, молча обнял Максима Ильича, так же молча подошёл к руке Прасковьи Михайловны, которая только наклонилась к щеке его и, в осторожном расстоянии, послала ей поцелуй.

— Не за делом ли? — спросил Пшеницын. (А случались у них дела по караванам, проходившим в уезде.)

— Нет, братец.

Помолчали.

— А закусить... будет?

Подали закуску: икры, пирог, ветчины окорок, холодного поросёнка, холодной телятины, копчёного гуся и графин ерофеичу[221]. Будто голодный боа[222], глотал гость куски полного блюда в ужасающих размерах; к концу закуски графин был пуст. Это упражнение продолжалось с полчаса: изредка только кряхтел и пыхтел он, как иногда мужик, когда рубит очень твёрдое дерево, кряхтит, чтобы придать себе силы. Наконец Трехвостов встал, молча обнял Максима Ильича, опять с тою же процедурой подошёл к ручке Прасковьи Михайловны, взял свою шапку, в виде башни, и вывалился в переднюю. Влез было он в своего медведя — да вдруг ударил себя широкою ладонью по лбу, сбросил медведя и воротился.

— Забыл.

— Что такое? — спросил Максим Ильич.

— Прошу... завтра... на свадьбу, Прасковью Михайловну... посажёной матерью[223]. Удостойте. Му!..

— К кому ж? — спросила она.

— Вестимо, ко мне... к моей невесте, гм!

— По нашему обычаю, должен об этом про-

сить ближний родственник невесты.

— Какие родственники!.. (Тут он махнул рукой.) Знаете Палашку?

Максим Ильич знал под этим именем у Трехвостова довольно красивую девку или женщину средних лет. Она являлась для прислуги перед очами приезжих гостей босиком, но в черевиках[224], с ситцевым платком на голове и такой же материи шалью, которою крест-накрест покрывала грудь и опоясывала себя так, что назади торчал горбом огромный узел с длинными концами. Иногда Пшеницын видал её с подбитым глазом и волосами, причёсанными в подозрительном беспорядке. Вследствие этих соображений, он видимо смутился и не знал, что отвечать. Но Трехвостов и не дал ему этого труда и опять спросил:

— Видал ребятишек? (Тут указал он на переднюю.) Один здесь... Накормили ли его?

— Накормили, — сказал Ларивон, приравнивший опорожненную после закуски посуду.

— Ладно.

Максим Ильич опять не отвечал. Он также видал у Трехвостова двух дворовых мальчиков, лет тринадцати и одиннадцати, которые

за столом бойко подавали и принимали тарелки. Треххвостов опять не дождался ответа и продолжал. На этот раз он разлился таким потоком слов, какого Пшеницын не слыхивал с первого знакомства с ним.

— Проворные ребята!.. Третий пищит ещё в люльке. Три девки... две уж славно шьют в пяльцах. И баба служила мне верою и правдой. Сколько побоев от меня приняла! Признаюсь, братец, больно горяч, таким матушка уродила!.. жаль их! Хочу всё венцом прикрыть. Неравно карачун...[225] отнимет деревню мерзавец брат, му!.. останутся без куса хлеба, да ещё, чего доброго! в крепость возьмёт...[226]

— Доброе дело, — сказала жалостливо Прасковья Михайловна, у которой навернулись слёзы при этом рассказе. — А свадьба неужели завтра?

— Завтра, спешу. Вот видите, шея коротка (тут он щёлкнул себя по шее пальцами); подчас бьёт в голову, будто молотом кто тебя ударит... наклонен к пострелу[227].

— Как же, — спросила Прасковья Михайловна, — чай, и приданого не успели пригото-

вить?

— Есть праздничное тряпье.

— Как же это можно? Всё-таки съедутся у вас дворяне на свадьбу... Жена исправника... И в церкви от прихожан будет стыдно. Позвольте мне самой снарядить невесту. У меня есть платья два-три — новёхоньки... надевала только по разу... Кое-что из уборчиков ещё привезу.

Треххвостов, вместо благодарного ответа, молча поцеловал у Прасковьи Михайловны руку, на которую упала слеза, как она всегда падала — из больных глаз его. И опять влез он в своего медведя, и опять занял им пошевени во всю ширину их, и опять мальчик в новом нагольном тулупчике бойко вскочил на сиденье, рядом с кучером.

Проводив гостя, долго ещё сидел Максим Ильич на одном месте в раздумье о семействе Треххвостова и его свадьбе. Чтобы освободиться от гнёта этих мыслей, он принялся читать «Жизнеописания великих мужей» Плутарха (чьего перевода, теперь не припомню)[228]. С своей стороны, Прасковья Михайловна думала только о той роли, которую будет играть

посажёною матерью, и о том, чтобы одеть завтра невесту в лучшие свои наряды. Началась выборка их из сундуков и раскладка по стульям, диванам и кроватям. Часто отрывала она Максима Ильича от чтения расспросами, какого цвета волосы и глаза у невесты, какого роста, худа или дородна. Эти занятия наполнили весь день и захватили половину ночи. Об еде она забыла; только перехватила кое-что на лету.

Мы было забыли сказать о том, что случилось с Ванею в то время, когда сидел гость у отца его. Он приходил в переднюю посмотреть на мальчика в новом тулупчике. Мальчик был очень хорошенький и с такою заманчивою, грустною улыбкой смотрел на барчонка, что тот поддался этой привлекательной наружности и посягнул было на приглашение играть с ним в снежки на дворе. Но Ларивон, вышедший в это время в переднюю, пресек разом это желание, покачав очень серьёзно головой. Ваня догадался, что ему неприлично связываться с дворовым мальчишкой. Услыхав, что стучат в гостиной тарелками, попросил он дядьку накормить маленького

слугу. «Господа едят, и слуга, чай, хочет тоже кушать», — говорил он. Между тем, пользуясь новым отсутствием своего ментора, стал любоваться чёрным пушистым волосом медведя, ласкал его своею ручонкой и называл хо-рошеньким, добрым Мишей. Мальчик в тулупчике сделался смелее, выворотил рукав шубы, накрыл им лицо своё и осторожно, на приличном расстоянии, подходил к Ване, приговаривая: «У! у! медведь — съест». Но, видя, что тот не боится медведя, а только смеётся, схватил его с недетскою силой в охапку, посадил на скамейку и закутал в огромную шубу так, что из неё было видно только горящее лицо малютки, окаймлённое чёрною, густою шерстью ужасного зверя. В этих новых забавах накрыл их опять Ларивон, но на этот раз отвёл своего питомца в другую комнату, велел ему смирно сидеть на стуле и сказал с педагогическою важностью: «В этакую шубу зарылись! Бог знает, где валялась, да и грехом воняет...»

Тут Ларивон, для вящего подкрепления своих наставлений, не преминул плюнуть.

Отчего грехом воняет, рассказал после

дядька. Богатая эта шуба была подарена Трехвостову купцом, чтобы он показал, что у него потонула барка с казённым провиантом, а провиант был заранее продан в соседние прибрежные деревни. Понятые, как водится, получили ведёрка два вина, и прочее, и прочее. «Грех великий! — говорит Ларивон, — не скоро отмолить его этому богопротивному человеку».

Свадьба действительно состоялась на другой день. Невеста, по милости Прасковьи Михайловны, была разряжена в пух и блаженствовала. Казалось, она помолодела десятью годами. И как не радоваться ей было? Она делалась свободною, дворянкой; существование её и семьи было навсегда обеспечено. За свадебным обедом сидело человек двадцать дворян. Сам предводитель Подсохин был приглашён, но не удостоил приехать. Это обстоятельство нагнало лёгкую тучу на пирующих; задумался и Трехвостов. На другой день, когда подали ему медвежью шубу, он, неизвестно почему, оттолкнул было её от себя и надел с сердцем. Несколько дней медведь тяготил его могучие плечи, как будто живой зверь сжи-

мал его в своих лапах. Взглянул он на своих детей, погладил одного и другую по голове, поцеловал малютку в люльке, сквозь слёзы улыбнулся жене, махнул рукою, и снова медведь сделался для него лёгок, как и прежде. С того времени бывшая Палашка, ныне Палагея Софроновна, никогда не была бита.

По поводу ли медвежьей шубы, под которою скрывалось нечистое дело, не приехал щекотливый в деле чести предводитель, или по другой причине, неизвестно. Но как мы о нём заговорили, то и остановимся несколько на его замечательной личности.

Это был один из достойно уважаемых дворян того времени, человек беленький, с которых сторон ни посмотреть на него. Редко в ком можно было найти соединение такой чистоты нравов с таким прямодушием, честностию и твердостью. Он всегда думал не только о том, что скажут о нём при его жизни, но и после смерти. Молодость провёл он в морской службе, делал несколько кампаний, был офицер ретивый и исполнительный и так же требовал строгого исполнения своих обязанностей, как и сам исполнял их. Хозяйство, по-

рученное ему на корабле, шло как нельзя успешнее — не для него, но для всей команды. Он не имел привычки извлекать свои выгоды из общественных или казённых сумм и приобрёл для себя только имя прекрасного *эконома* — разумеется, в хорошем смысле. Обстоятельства потребовали, чтоб он вышел в отставку. Его призвали к домашнему очагу мать, молодая жена, трое детей и сестра, которых обязан он был содержать от небольших деревушек в холоденском уезде, а имение это под слабым, может быть, бестолковым, женским управлением начинало расстроиваться. Взяв в твёрдые и искусные руки руль хозяйства, он в несколько лет успел привести своё и женино имения в цветущее положение и удвоил доходы без отягощения крестьян.

Вскоре дворянство уезда потребовало от него жертвы. Прежний судья не выполнил надежд своих избирателей и, как мы видели, въезжал верхом на лошади по лесам строившегося, вместо того, чтобы твёрдо сидеть на своих курульских креслах[229]. К тому же замечено было, высшим ли начальством или дворянством, что он очень *однообразен* в при-

искании и приложении законов к судебным определениям, между тем слишком *разнообразен* в решениях своих помимо законов. Так, в уголовных делах ни одного определения не обходилось без того, чтобы он не включил следующих речений: «Лучше простить десять виновных, нежели наказать одного невинного. Судья должен помнить, что он человек есть»[230]. И эти решения выставлял даже тогда, когда определялись кнут или каторжная работа. В суд поступило однажды дело *о зарезании насмерть* медведем мужика. И тут судья не преминул поставить свой любимый текст: «Лучше простить десять виновных, чем одного невинного наказать»; виновного же в определении своём предоставил суду Божию[231]. Зато как любил он разыгрываться в решениях своих! Когда подносили ему в одно время два журнала по преступлениям, хотя совершённым двумя разными лицами и в разных местах, но одинаковым по обстоятельствам и степени вины, даже по летам преступников, он определял одного наказать кнутом, а другого плетьюми. Если же секретарь замечал ему, что законы в обоих журналах

подведены одни и те же, он с неудовольствием отвечал: «Что ты, братец, толкуешь мне о законах? Законы сами по себе; пусть и остаются на своём месте. Забор стоит что ль, или ров вырыт между ними и постановлением? Или, по-твоему, запряжены они вместе, как парные лошади в дышло?[232] Видишь, тут два человека разные. Один из Перекусихиной — там народ всё разбойничий, а другой из Белендряевки — когда проезжаешь, так все миром встают, будто единый человек, и все в пояс, будто единое лицо. Один убит в густом лесу, а другой в кустарниках. Понимаешь ли, умная голова? В лесу никто не видит, а в кустах — сам посуди — бывает редочь, там этак вербочка или жиденький олешник[233], ну как бы, например, сказать, будто сквозь стеклянную бутылку видно, какая там себе ягода плавает. Следственно, понимаешь, душегубство одного совершено в отчаянном азарте, другого — осторожно, с наклоном головы и прочее... понимаешь? Да и там у начальства, ты сам умная голова, там увидят разнообразие; оно и читать приятнее. Видно, дескать, тонкий судья, даром что хмельным за-

шибается! — всё по косточкам разобрал. Эх! Братец, нужна везде политика, то есть букет. Поднеси только к носу, узнаешь сейчас по одному духу, какого поля ягода, вишнёвка или смородиновка. Помни ты, крыса архивная, магазин ты этакой законов, везде нужен букет!» При этом судья дружески потрепал секретаря по плечу, а секретарь поклонился и крикнул. Вся канцелярия поняла, что в этом звуке отзывалось больше смысла и значения, нежели в произнесённой речи.

Хотя судья и сам походил с лица на букет разнородных ягод по теньям наливок, какие он вкушал, однако ж дворянство и судилище раскланялись с ним навсегда. На новых выборах Подсохин был единодушно избран в судьи.[234] Знаком он был с девятым валом грозной стихии, как с движением пуховика, когда он в бессонницу переминал на нём с боку на бок свою тучную особу. Но его ожидал девятый вал ещё более грозной стихии — подъяческой. Здесь собственная его неопытность и гениальная сноровка приказных, перед которою бледнеют величайшие умы и таланты промышленного мира, готовили ему

мели и скалы, гибельнее всех, какие только случилось ему встретить на своём веку. «Однако ж, — подумал он, — одарил же меня Господь кой-каким рассудком, правил я успешно хозяйством на корабле, вынес и собственное хозяйство от крушения, к тому ж, грех таить, *писать охотник*, да и отказываться от чести, мне сделанной, *постыдно*» — и решился принять должность, на которую вызвал его голос дворянства целого уезда. Отслужив молебен в своей сельской церкви, он поднялся со всем семейством, большими и малыми, и переехал на житьё в Холодную. Перед входом в судейскую, он, как простой работник, начинающий свой подённый труд, перекрестился на все четыре стороны. Здесь первым его делом было изучить добросовестно свои новые обязанности, и, изучив их, он принялся за исполнение с редким усердием и твердостью.

Не очень уважаю я судью, у которого секретарь, известный каждому в уезде и даже в губернии не только по фамилии, но и по имени и отчеству, как-то: Семён Макарыч, Антон Сидорыч (ох! Уж эти Макарычи!), приобрёл себе громкую известность великого дельца,

закрывающего своею важною, иногда неприступною, персоной ничтожность президента и его товарищей. Секретарь у Подсохина ничего не значил или значил то, чем ему велено быть законами. Просители, без всяких предварительных сношений, посредничества и остановок, обращались прямо к судье. Он заранее ничего не обещал, но, вникнув в дело, обняв его хорошо со всех сторон, сообразив с законами, говорил твёрдо, наотрез одному: «ваше дело право», другому — «не могу для вас ничего». Слова эти были неизменны. Иногда удавалось ему помирить тяжущихся и без поощрения бумажной фабрикации.

И прошло его шестилетнее служение в судейской камере, как для трудолюбивого пахаря дни летней *страды*. Отёр он честный пот с чела своего и отслужил в той же сельской церкви благодарственный молебен за то, что сподобил его Милосердый Отец исполнить свято долг свой. С той поры мог он ежедневно засыпать с невозмутимой совестью младенца и так же спокойно готов был навсегда закрыть глаза на лоне своего Господа. Никогда не промышлял он ничего для себя из своей

должности, никогда не продавал ни за какие выгоды чужих интересов. Трудился много и трудился особенно, когда предстояло в суде решение дела, в котором замешано было благосостояние незащищённых сирот или женщины, несведущей в законах. Горячо, до иступления, гнал лихоимство, но закрывал глаза, когда благодарили его бедных подчинённых за усиленные труды по делу, которое было уж решено присутствующими. Уважал он высшие губернские власти, но никогда не унижался перед ними и никогда не был их угодником из надежды на награды или на милостивое *взыскание*: не знаю почему, а может быть, потому, что резко говорил правду в глаза, и губернские власти заискивали в нём. То назовут дружочком, то посадят за стол рядом с женою, то велят слуге, помимо более значительных лиц, подать ему трубку табаку. Но он никогда не обольщался этими приманками и для них не переменял своих правил. Были даже случаи, когда он вёл с дружочками борьбу упорную и часто выходил из неё победителем. А если торжествовала иногда неправда сильного, утешался, по крайней мере, мыс-

лию, что исполнил долг свой. Скорее, готов он был претерпеть гонение, чем согласиться на несправедливую потачку богатству и сильным связям.

«Да это феномен!» — скажут многие. И я тоже скажу да ещё переведу это иноземное слово по-русски: чудак! Диво дивное! Иной, пожалуй, в насмешку прибавит: урод!.. И опять с этим соглашусь. Что ж делать? Выскакивают во все времена из толпы румяных, пригожих человечков такие уроды. Вот, например, знавал я в одной губернии подобного возвышенного урода; знаю и теперь в той же губернии такой же экземпляр.[235] Это молодой человек, лет двадцати шести, кончивший своё образование в московском университете. Дворянство убедило его принять должность судьи. Он принял её и, принеся в жертву долгу лучшие годы своей жизни, любовь к искусствам, светские удовольствия, которыми состояние его дозволяло ему пользоваться в столицах, постригся на служение правде и добру в скучном городе. Честь ему и месту, где он воспитывался! Не сомневаюсь, что и во многих губерниях найдутся подобные прекрас-

ные личности, в душе которых неугасимо горит искра Божия. Поболее таких сынов отечеству, и я уверен, что правда и милость утвердятся в судах по слову помазанника Божия!
[236]

Подсохину не дали отдохнуть в деревне. Так ретивого коня почаще и запрягают. На этот раз, к чести холоденского дворянства, выбрали его в предводители, несмотря на то что этого места домогались соперники несравненно его богаче, выше чинами и с сильнейшими связями. Эта почётная должность была как бы наградою за его прошедшее трудное служение и польстила его благородному самолюбию. При этом тешила его ещё одна затаённая мысль, о которой будем сейчас говорить. Здесь, в круге своих обязанностей, действовал он, как и прежде, обращая главные свои попечения на опеки.[237] До него они отдавались, как воеводства в древние времена, на прокормление и поправку оборванных судьбой или собственной виною бедняков. Кончались эти опеки тем, что оципаные до последнего пера имения продавались с молотка. Наследники вступали в свои

права, получая только право входить в тяжбу с опекунами. Подсохин противился подобным назначениям и наблюдал за имениями сирот и других лиц, подпавших опекам, более, нежели за своим собственным.

Но, увы! И у него была ахиллесова пята, и он имел слабости. Кто же из адамовых детей не имеет их? Его слабость никому не вредила, а была только смешна. Подсохин любил — *писать*.

Ещё в морской службе посягал он в официальных бумагах на кудреватость и обилие слов. Хотя они не шли вовсе к делу, он думал, однако ж, щегольнуть, блеснуть ими. Иногда и сам, в душе своей признаваясь, что они лишние, долго колебался, выкинуть ли их или оставить; наконец решался выкинуть. Но лишь только исполнит это, как набегало на душу его сожаление, неотступное, грызущее, что этими перлами никто уже не полюбуется и они останутся зарытыми в его собственной персоне. И вот опять нанизывает их в своих *репортах*. Доставалось же ему за эти перлы от начальства, которое их не понимало или не умело оценить. Капитан говорил ему: «Сде-

лайте одолжение, Владимир Петрович, избавьте меня от вашего красноречия. Оно, может, и хорошо в другом месте, но в служебных бумагах никуда не годно. Скажите мне сущность дела в нескольких словах, хотя в одном, если можно, да чтоб я знал, в чём дело. Дайте мне ядро, сударь, а мне вашей красивой скорлупы или шелухи не нужно. В другой раз, извините, я выброшу её за борт». Не унялся было Подсохин, увлекаемый своим демоном; но капитан не любил дважды повторять своих приказаний, даже в виде поучений, и арестовал витию.[238] В сердцах Подсохин мысленно назвал капитана человеком чёрствым, не одарённым от природы чувством высокого и прекрасного; но, крепко сохраняя субординацию, перестал с того времени писать служебные бумаги пространно и кудревато. Зато по секрету писал, уж по-своему, дубликаты этих бумаг и услаждался чтением их про себя по несколько раз. Иногда, на вопрос своих сослуживцев: не написали ли вы чего новенького, Владимир Петрович? — тайно посвящал какого-нибудь неопытного юношу в красоты своих созданий. Ино-

гда товарищ, плохо владеющий пером, просил его сочинить письмецо к родителям своим или к далёкой красавице, вздыхающей в каком-нибудь русском порте по юном мореходце. Нельзя было сделать ему лучшего подарка.

Порывался было он на красноречие в судебных определениях. Но тут являлся перед ним, как тень Гамлету[239], грозный образ его капитана и стучали ему в уши роковые поучения. Казалось ему: вот сейчас арестует его капитан, всегда добрый для него, кроме одного случая, и даже раз оказавший ему кровную, братскую услугу. И определение писалось Подсохиным, сколько возможно ему было преодолеть натуру, простым, понятным языком, без авторского пошиба. Но как скоро попал он в предводители, искуситель шепнул ему, что именно тут, на этом месте, красноречие необходимо в адресах[240], возваниях и тому подобных бумагах. Вздохнул он свободно, будто свалился камень с груди и развязались руки. С того времени принялся, по поводу или без повода, писать и писать. Цветы красноречия сыпались из его головы, как из

рога изобилия, даже по случаю приглашения к обеду или присылки ему индейского петуха хорошей породы. Бог мой! Страшно сказать, как он писал!

Владимир Петрович не скрывал своей слабости, или, вернее, таланта, ниспосланного ему свыше, считал грехом зарывать его в землю. «*Люблю писать!*» — говорил он с гордостью, уверенный, что каждое произведение его пера возбудит восторг в его современниках. И находились действительно в то время люди, которые приходили в восторг от его творений, хотя их не понимали, и провозглашали его великим писателем. Списывали их друг для друга и заставляли детей своих выучивать наизусть.

— Каково пишет наш предводитель! — говорил сосед соседу почти со слезами на глазах.

— Откуда это у него берётся? — говорил другой, растопырив руки и пожимая плечами в виде фигуры недоумения (заметьте, новая риторическая фигура!). — Из какого родника бьёт такой талант? Вот, братец, попробовал и я было. Сядешь чинно, как и следует, за пись-

менный стол, возьмёшь порядком перо в руки, подумаешь, как следует, а что-то не пишется. Поворочаешь пером, как будто прутом железным, даже поковыряешь им в голове, ещё раз поковыряешь — не лезет ничего. Инда постучишься в ней с сердцем — что ж ты, голова?.. Настоящий выдолбленный арбуз или тыква; пустотой какой-то и отдаётся. Плюнешь на бумагу, с тем и отъедешь от неё.

— Видно, дар ему такой от Бога! — говорил третий сосед. — По-моему, братец, я думаю, голова у него устроена, как бы орган какой. Завёл, и пошла, пошла писать музыка... симфония, лакосез[241], концерты... Вот как река бурная льётся, или бьёт бутылка с пивом, когда её раскупоришь.

— Сильно пишет! — молвит новый собеседник, вздыхая и возводя глаза к небу. — Инда подчас волос дыбом поднимается. Иной раз махнёт так, что кровь в голову ударит, зарябит в глазах, и свет Божий помутится.

— Сладко пишет, — прибавил один господин. — Захочет за сердце схватить, так уж не пеняй, схватит, а слёзы и кулаком не удержишь.

— Уж не бес ли пишет за него, — вмешалась тут старушка, занятая в своих креслах вязаньем чулка и слышавшая весь разговор. (Она не любила предводителя за то, что, когда был судьёй, решил её неправоё дело в пользу противника.) Тьфу, пропасть! Прости мне, Господи, с этим... вот и петлю распустила. А вы думаете, скажу, Парфён Михайлович, — прибавила она, относясь к собеседнику, большому вольтеррианцу[242], который смотрел на неё с ироническою улыбкой, как будто поймал её в преступлении, — нет-таки, не скажу, опять не скажу...

— Какой, матушка, бес, — перебил её обиженным тоном один из панегиристов[243] Подсохина. — Станут ли Владимир Петрович с этим якшаться; они человек богобоязненный.

И долго ещё собеседники рассуждали о том, откуда это у него берётся, что он так хорошо и мудрёно пишет.

Действительно, Подсохин писал так мудрёно, что и самый борзый ум не добрался бы в десять лет до смысла его бумаг. Никакой гидравлический пресс, никакая молотильная ма-

шина, если бы они были изобретены для литературных произведений, не выдавили бы, не вымолотили бы этого смысла. Чего не было в его сочинениях? И кочующие номады, и высота бездны, и почиющая на крыльях бури тишина[244] — всё это переплетённое, свитое в какой-то пёстрый, нескончаемый жгут, ударяющий по воздуху! Сожалею очень, что не сохранил самых замечательных его произведений. Для примера даю здесь один слабейший из них отрывок, уцелевший в бумагах Пшеницына. Это воззвание к дворянам уезда о пожертвовании в пользу пострадавших от пожара или наводнения (не могу верно сказать) жителей Петербурга.

«Мал мыслию и способностию найдтися в убеждениях красноречия, ибо холоденское благородное общество превышает всякое красноречие имеющих дар на оное. Вспомните, мм. гг.[245], что место сие (Петербург) дало нам начало и науки и возвело нас на степень, ныне при нас имеющуюся, и что дети и младые родственники наши последуют под тот же покров нашего начала, или, так сказать, во вторую природу, и наконец обратимся ду-

хом к слову Божию: «Блаженни милостивии, яко тии помилованы будут»[246]. С истинным почтением» и проч.

Когда Подсохин имел только малейший повод писать или чувствовал в себе позыв на вдохновение, он, как жрец, готовящийся служить своему божеству, уединялся в особую комнату. Тихи, важны, размеренны были его шаги в это время, словно он боялся вытряхнуть из головы великие идеи, в ней нагруженные, как драгоценный, но хрупкий фарфор; лицо его осенялось даже какою-то мрачною таинственностью. При этом случае он сам не отворял двери, чтобы не было какого потрясения в его персоне; капище[247] открывалось перед ним и закрывалось за ним любимым его слугой, который исполнял эту обязанность с особенною важностью и глубокими поклонами. В особенной комнате Подсохин облакался в долгополый, испещрённый чернильными пятнами сюртук горохового цвета, прозванный им *писчим*, запирался крепко-накрепко, писал и переписывал до тех пор, пока уже мурашки бегали у него в глазах и он сам не понимал, что пишет. Слуга, лет

сорока с лишком, низенький, с лысиной на голове (хотя и не терял названия *мальчика*), облечён был в высокую должность хранителя писчих снарядов и в особенности писчего сюртука. Когда невидимо производилась великая работа в кабинете, он сидел у дверей его на стуле, не двигаясь и затаив дыхание. Боже сохрани кашлянуть! Он скорее лопнул бы от натуги, чем решился бы посягнуть на нарушение узаконенной тишины. Если какой-нибудь отчаянный сорванец проходил мимо, хотя и неспешными шагами, слуга махал рукой, чтобы ходил ещё осторожнее, ещё тише, если б можно — пролетал. Такое высокое понятие имел он о занятиях своего барина, полагая, что в кабинете творится что-то чудесное, вроде литья золота или делания алмазов! В это время и вся многочисленная семья Подсохина ходила на цыпочках, даже и в отдалённых комнатах, боясь малейшим шумом прервать нить красноречия.

И вдруг в глубокую, бездонную тишину канул какой-то звук. Чуткое, приложенное к двери ухо хранителя писчего сюртука послышалось в кабинете движение кресел; затем ве-

ликий писатель крякнул. Это был знак, что работа кончена. Капище отворялось. Тогда скидался писчий сюртук, принимаемый слугой с подобострастием, доходившим едва ли не до благоговения, и укладывался в комод. Барин облакался в обыкновенный сюртук. И вот он с исписанным листом бумаги в руке, с лицом, сияющим важным спокойствием и самодовольством, вступает в комнату, где ожидает его семья. Она первая должна выслушать произведение, родившееся в этот час, хотя и не может постигать его высокое значение. Что ж делать? На первый раз нет более достойных слушателей, а новорождённого необходимо заявить свету, как принца крови, родившегося в хижине, должно показать хоть крестьянам. После процесса чтения дитя передаётся протоколисту, который принимает его с достоподобным уважением. Наконец творение переписывается в несколько рук возможно лучшим почерком и развозится по уезду в сотнях экземпляров, если это циркулярное воззвание к дворянству или тому подобное.

Надо было видеть величавую и самодо-

вольную фигуру охотника писать, когда он вступал в среду своего семейства для предъ- явления ему великого творения. Старушка мать слушала, по временам творила про себя молитву и возводила глаза к небу, как будто благодарила Господа, что даровал ей такого умного сынка. Жена, добрая, любящая женщина, жившая в муже, в детях и хозяйстве, не находила нужным вмешиваться в литературные дела своего мужа и даже простодушно утвердилась на том, что она глупенькая, потому что ничего не понимает из его сочинений. Она слушала, а может быть, и не слушала, потому что молчала во время и после чтения. Как понимали произведения отца две дочери, довольно взрослые, и сын лет пятнадцати — это неизвестно. Только и они по привычке владеть своею физиономией, зная по опыту, что малейшая улыбка или знак рассеяния навлечёт на них родительское негодование. А сын помнил, что ему выдрали уши за то, что задремал в один из подобных литературных сеансов. Случалось, что и дети после чтения изъявляли свой восторг... У Владимира Петровича была сестра, девица немолодых лет, ко-

тору он называл обыкновенно *esprit fort* [248], хотя все знали её за женщину богобоязненную. Имя это заслужила она своим здравым умом и прямодушием. Выслушивая новое творение брата, решалась она иногда, призвав на помощь все небесные силы, именем их умолять его писать *проще и понятнее*.

Что за улыбка, что за взгляд бывали ответом на смиренные мольбы её! Слов тут никогда не употреблялось. Но в этом безмолвном ответе было более красноречия, нежели во всех сочинениях Подсохина. В нём заключались и высокое сознание собственного достоинства, и жалость к слабой женщине, не умеющей понимать литературных красот, и великодушное могущество, которое может задавить червяка, но шагает через него. Сам Юпитер[249] не улыбнулся бы другою улыбкой, не взглянул бы другим взглядом, смотря с высоты своего Олимпа[250] на ребяческую суету человеческого муравейника, который копытит под громовыми тучами. На эту улыбку и взгляд можно бы ходить, как на представление великого артиста. Если бы Барнум жил в то время, он откупил бы их[251].

Как моряк, Подсохин любил рассказывать о корабельных снастях и эволюциях[252] тем, которые этого не понимали. Побывал он некогда в Лондоне и потому, когда ему случилось играть в бостон[253], при объявлении пришедшей игры иначе не произносил её, как английским выговором: *бостон*. Если ж другие, не бывшие в Лондоне, подражали ему в интонации и в произношении этого слова, то взгляд и улыбка его были *отчасти* такие, какими он награждал сестру свою за простодушные замечания её при слушании его сочинений.

Можно сказать, что в Подсохине были два человека: один — хороший отец семейства, домовитый хозяин, исправный офицер, примерный судья; другой — чудака, в арлекинском писчем сюртуке, воображающий его цидероновской тогой[254], всегда на ходулях, самолюбивый до безрассудства. Когда он в обществе рассуждал о чём-нибудь, он говорил просто, ясно и умно, шутил, не оскорбляя никого, умнейшему собеседнику всегда уступал первенство. Как он писал, мы уж видели.

Подсохин любил Максима Ильича. Зная,

что тот имел хорошую русскую библиотеку, и потому полагаясь на вкус обладателя её, не обошёл его чтением своих произведений. Действительно, Максим Ильич, одарённый от природы чувством добра и красоты, изошрив его беседами с Новиковым и чтением книг, мог понимать, что такое сочинение Подсохина. Но, уважая в охотнике писать высокие душевные качества и столь же прекрасную жизнь, служебную и частную, не желал нарушать его самодовольства, так приятного для него и ни для кого не обидного. Он знал по опыту, что Подсохин не станет мстить, если б сделали ему неприятные замечания — добрая душа предводителя была выше мщенья, — но желал лучше пожертвовать часом скуки, нежели огорчить его этими замечаниями. И потому, искренно преданный человеку, хвалил творения писателя. Надо сказать ещё, что в отношениях к людям, которых Максим Ильич любил, он был особенно мягок и податлив.

Имел ещё друга предводитель, холоденского соляного пристава[255]. Этот был философ, как и прозвали его, и напрямик сказал Подсо-

хину, что по книжной части не далёк, а до письменной и подавно не охотник. Такая разница вкусов не мешала им, однако ж, быть задушевными приятелями. Соляной пристав и его дочка стоят, чтобы им посвятить особенную тетрадь.



ТЕТРАДЬ III СОЛЯНОЙ ПРИСТАВ И ЕГО ДОЧЬ

I

На самом высоком месте берега Холодянки,

там, где она уходит в М-у-реку, в нескольких саженях от одинокой, полуразвалившейся башни, стоял деревянный домик[256]. Три окна, глядевшие на клочок улицы, упиравшейся в берег плетёною изгородью, четыре — на другую улицу, которая вела к соборной площади, и вышка в одно окно, называемая ныне мезонином, предупреждали, что и внутри этого смиренного здания не найти большого простора. В самом деле, в нижнем этаже были только три комнатки, да в верхнем одна светёлка. Избушка на курьих ножках для кухни, прибавьте навес для дров, — вот всё строение, которое увидали бы на дворе. Даже не было собачьей конуры, неминуемой при каждом доме в Холодне. Хозяин не любил звука цепей и сиплого, иногда бестолкового лая и потому держал на воле собачонку, исполнявшую за то свои обязанности получше цепного сторожа. Домик был, однако ж, внутри и снаружи опрятен. Не видать в нём было, как это случается в жилище бедного чиновника, разбитых стёкол, заменяемых бумагой, на которой прохожие могут читать многозначащие глаголы Фемиды[257]: репорт, вследствие про-

симости, учинить следующее, об утонутии крестьянина, городничий и кавалер и т.п. Можно даже сказать, что домик глядел весело. Петушась на самом высоком месте города, он будто говорил: «Видите, куда взлетел! Мал, да удал!» К тому ж мысль, что тут живут добрые, беленькие люди, придавала ему и ту привлекательность, которой он сам по себе не имел. Заметьте, сколько бы дурной человек ни украшал своего жилища, оно всё-таки пасмурно смотрит. В нём часы под богатою бронзой бьют как-то уныло, фарфоровые пастухи и пастушки не весело смеются, мрамор давит; кажется, из-за шёлковых занавесок выглядывают рожки злого гения дома.

Ко двору примыкает садик. У входа в него можно сосчитать число его яблонь, кусты сирени, пионов и жёлтого шиповника[258]. Беседка из акаций единственное его украшение. Но стоит только подойти к скамейке на берегу реки, и вам трудно оторваться от картины, которая с этого места перед вами развёртывается. Прямо из лугов выбегает широкая река, идёт, распахнувшись, на город и вдруг, остановленная берегом, на котором

держится старый кремль, поворачивает углом под плавучий мост, через неё перекинутый [259]. Как эти воды иногда оживлены! Огромный караван судов гусем тянется по ним, пустив по ветру разноцветные ленты своих мачт. Берега осыпаны роями лошадей [260], ползущих на высоты или сбиваемых с высот натянутою, как струна, бечевою. Слышны повелительный голос рулевого, посвист коноводов, всплеск бечевы, отрясающей с себя зелёные пряди скошенной ею водяной травы, торопливые крики испуганных куликов. Вдали, на тёмной глади реки, мелькает белое, едва заметное пятнышко; вот уж словно лебедь широкою грудью разрезывает струи, сцепляется с другим товарищем, опрокинутым в воде, поднимает крылья... Нет, это летит, надувшись, парус — все ближе и ближе; упал, и перед вами является бедный остов рыбацкой лодки; на кривой мачте её мотается кусок полотна с заплатами. Лодка причалила к берегу; перекинутая с неё доска установила между ними сообщение. Вот взбирается осторожно по этому мостику дородная горожанка в блестящем кокошнике и в малиновой

штофной душегрейке[261], с кулёчком в руках. Рыбак сеточкой вытащил из садка рыбу, будто груду серебра. Избран в жертву огромный, пёстрый налим. Захваченный мощными руками, он открыл пасть свою и, как змей, вьётся в них. Между тем жена рыбака достала из-под кормы спелёнатого ребёнка и, присев на первую доску, стала кормить его своею грудью, на которую из-под клочка паруса упал солнечный луч. Целая идиллия!.. Живой мост гремит и катит клубы пыли. За лугами к сосновому лесу прижалась белая ограда монастыря, и среди неё высится разноцветная купа церквей[262]; золотые звёздочки крестов искрятся на тёмном фоне леса. Кое-где по сторонам выползает из-за горки деревушка[263] или цепляется по берегу оврага. Дорого бы дал богатый человек, чтобы перенести в свой парк великолепные руины башни, которыми владелец домика пользовался даром. Камни этих развалин, упавшие на межу садика, служат его хозяину скамейками; время покрыло их густым, разноцветным мхом, как барсовою кожей. Внизу под башней шумит мельница. Её-то Ваня видел из дома на Запрудье и вооб-

ражал жилищем сердитой колдуньи, которая беспрестанно стучит своими костылями и ведёт схватку с любимой его Холодянкой. Речка несколькими каскадами бросается на колёса, упадет в омут, закипает белою кипенью и потом бесчисленными нитями убегает в изгиб М-ы-реки, как будто испуганная стая рыбок бросается в одну сторону, сверкая серебром и золотом своей чешуи. Мимо башни влево спускается широкая дорога к низменному берегу Холодянки и провожает её до самого моста, переброшенного через речку. Здесь идёт почтовый губернский тракт[264], со всеми живыми и мёртвыми сценами, происходящими на подобных дорогах в уездном городке. Через реку, ещё левее, видны, как на блюдечке, Запрудье, деревни[265] и те живописные поля, рощи, овраги, которые Ваня любил посещать с своим дядькой. И ночью как хороша картина с межи садика! На М-е-реке тихо, будто она отдыхает после дневной работы под грузом судов. По ней скользят двойники рыбачьих лодок, иные с огненным лучом, отражающимся в воде; на берегах пылают костры, ярко освещая группы, теснящиеся около

них в разных положениях. Месяц заглянул в амбразуру башни и даёт живописный свет и тень развалинам. То едва слышен однозвучный, как маятник, плеск волны, бьющейся о берег, то сдержанная мельница лениво шумит, будто в просонье. И вот, где-то в саду или клетке, зажурчал соловей, застонал, замер в неге своей песни и вдруг обдал окрестность огненной трелью, от которой встрепенётся ваша душа.

Кто ж был хозяин этого уголка? «Подайте нам его имя, отчество, фамилию, должность или звание!» — скажете вы. Признаюсь, я всегда запутываюсь в этих названиях. Одна русская школьная память, которая затверживает тридцать страниц, без пропуска единого слова, из вступления во «Всеобщую историю» Шрекке[266], в состоянии удержать в своём мозговом хранилище имена и отчества целой фаланги лиц[267], о которых вам в жизни приходилось слышать и с которыми случилось вам говорить или переписываться. Что ж делать? Пусть будет, как принято обычаем, а то, пожалуй, назовут меня отщепенцем от всего родного.

И потому скажу, что хозяин домика и сада был соляной пристав Александр Иванович Горлицын. Отец его, майор[268] времён Екатерины, при ней начал, при ней и кончил службу вместе с своим земным поприщем. Александр Иванович едва помнил добродушный, приветливый образ матери, которую потерял, имея пять лет, но глубоко врезались в его памяти и сердце предсмертный поцелуй её ледяных губ и её последнее благословение. Суров с вида был отец, но и на пасмурном его лице мальчик угадывал иногда грусть нежной, любящей натуры; среди редких его ласк замечал на глазах его невольную слезу, которую старый воин тотчас старался скрыть от сына. Отпуская Сашку, как называл его, в кадетский корпус[269], отец сказал мальчику: «Будь честен, что бы с тобою ни случилось, какую бы ты службу ни нёс. Честь всё равно что девичья слава: не возвратишь, потеряв её однажды[270]. Помни, мать смотрит за тобою с того света. Забудешь моё приказание, не будет тебе моего благословения ни в здешней, ни в будущей жизни». Узнав впоследствии, что кадет унёс у своего товарища какую-то

малоценную вещицу, выпросил его к себе на дом и наказал так, что мальчик слёг в постель. Когда ему попеняли за слишком жестокое взыскание, он отвечал: «Лучше хочу видеть сына мёртвым, чем негодяем». Старик умер, успев, однако ж, обнять своего сына офицером. Доброе имя, домик в Холодне, пятьсот рублей и семья людей[271], состоящая из жены и мужа средних лет с двумя малолетними детьми, мальчиком и девочкой, — вот всё наследство, которое осталось после отца. Александр Иванович был исправный офицер, делал несколько походов и уже в штабс-капитанском чине, в турецкую войну, получил в ногу рану[272], от которой стал прихрамывать и вынужден был выйти в отставку.

Оставленным наследством нечем было жить, тем более что он, во время квартирования его роты в Нежине, женился на дочери одного тамошнего грека[273], за которою приданого было только красота и доброе сердце. Она любила в нём привлекательную наружность, открытый характер и любовь его. Плодом этого брака была одна дочь. Несмотря на различные лишения и недостатки, Горли-

цын прожил двенадцать лет с женою как один счастливый день. Кате было десять лет, когда она потеряла мать; но одарённая от природы нежною и привязчивою натурой, несмотря на свой детский возраст, сохранила в душе своей грустные впечатления этой потери, оставившей надолго следы на задумчивом её лице. Горлицын был убит потерею жены и мыслью, что он, часто затрудняясь в приискании себе насущного пропитания, не может ничего для довольства и воспитания дочери, которая сделалась для него ещё дороже после ужасной его утраты. Испытав напрасно разные хождения по лестницам сильных особ, он вспомнил, что один из его корпусных товарищей, с которым был в дружбе до того, что поменялись крестами, имел родственные связи с людьми знатными и сильными и шёл быстро в чинах по гвардии[274]. Мысль, что через него приютит дочь в институт под покров самой императрицы[275] и, может быть, добудет себе местечко с порядочным жалованьем, заставила Горлицына обратиться к прежнему своему товарищу. Ответ был в четырёх словах: «Приезжай поскорее,

мой друг!» Вот и направил он с дочерью свой путь в Петербург. Нельзя сказать, что он совершил это путешествие на долгих[276], потому только, что ехал на одной лошадке, которою управлял слуга, готовый, как и всякий русский человек, на все должности и мастерства. Ныне он тачает сапоги, завтра играет на скрипке или списывает Брюллова картину [277]. Надежды не обманули Горлицына. Крестовый брат, несмотря на то что стоял уже высоко, принял его с открытыми объятиями, но не остановился, как часто бывает, на одних изъяснениях дружбы, а спешил доказать её на деле. Дочь вскоре была принята в казённое воспитательное заведение, а отец получил где-то место смотрителя значительной больницы, весьма выгодное, по понятиям благодетеля. «Человек в такой нужде, как Горлицын, — думал он, — поневоле воспользуется благовидными доходами, которые обещает это место». Ничуть не бывало. Этот честный чудаков пользовался только своим жалованьем и квартирой с отоплением и освещением и думал единственно о том, как лучше успокоить и призреть страждущих, вверенных пра-

вительством его заботам. Он почитал страшным преступлением урезать что-нибудь от содержания больных или дать им худую пищу. Но этот странный образ управления больницей сначала изумил некоторые лица, потом возродил в них намерение столкнуть глупца с места, которое было не по нём. У них был отнят кусок хлеба, а этот кусок доходил у некоторых до хорошего золотого прииска. Такого рода люди удивительно ловки, даже гениальны в искусстве подшибать людей, которые не по ним. Горлицын через два-три года потерял своё место — каким образом, было бы грустно рассказывать. И вот решился он, скрепя сердце и ни на кого не жалуясь, прибегнуть опять к своему другу и благодетелю; и опять этот друг, пожурив его за аркадскую простоту[278] (он хотел сказать, глупую честность, но язык не поворотился на это выражение), выхлоптал ему место соляного пристава в Холодне. Чего ж лучше для Горлицына? Здесь была его родина, здесь он имел и собственный домик. Приехав на место, он принялся за исполнение своих скромных обязанностей, при скромном жалованье, так же усердно и честно, как он

делал и прежде. Предместник его, прослужив на этом месте десять лет, свил своим птенцам тёплое гнёздышко. И немудрено: в Холодне, как я уже сказал, солили большое количество мяса на Англию. На это намекали не раз Горлицыну люди, желавшие ему добра, навязывали ему *благодарность*; но намёки и благодарность скоро перестали его беспокоить, когда увидели, с кем имеют дело. В маленьких городах, в которых, кажется, и сами дома насквозь видны, где узнают, что у вас каждый день готовится в горшке или кастрюле, так же скоро узнаётся и нравственность человека. Спросите, приехав в любой из этих городков, первого лавочника, первого трактирного слугу, каков такой-то, и, если вы не ревизор, против которого заранее подведены все подступы и приготовлены все камуфлеты[279], лавочник и трактирный слуга верно опишут вам человека с ног до головы. Вскоре граждане прозвали Горлицына честным и, что для них значило одно и то же, простым человеком.

Но сыскались и недоброжелатели, хотя Горлицын никого не оскорбил, ни о ком дур-

но не отзывался, ни в какие дразги и сплетни не входил. Пуще всех закопышился приказный люд[280]. Пошли толкования о том, как это и зачем такой странный человек появился в их городе. Кто говорил, что он с придурью, другие — что по виду не замутит воды, а исподтишка готов всякого укусить, что имеет замыслы не только на свою родную сторону, но и на весь род человеческий: хочет, дескать, перевернуть весь шар земной. Находили его улыбку подозрительною: иезуит, надо быть, или фискал[281]. Были даже люди, которые сомневались, подлинно ли он русский: такие-де чудаки у нас и не рождаются. Должно быть, какой-нибудь самозванец под фамилией Горлицына.

— Русский-то он русский, — порешил стряпчий[282] с бельмом на глазу, — действительно он родом из Холодни. Мы с Сашкой и в бабки[283] игравали. Такой азартный был! Того и гляди, норовит гнездо стащить.

— Что ж он такое? — спрашивали его.

— А вот, извольте видеть, волтериянец, философ, прости мне Господи! (Тут решитель уездных судеб сделал рукою какие-то таин-

ственные знаки на груди.) Нахватал фармазонской науки[284] да и пустился в вольнодумство.

На том и кончилось по приговору стряпчего, что Горлицын философ, хотя многие и не понимали этого слова: с того времени и пошёл он слыть в городе под этим названием.

По приезде Александра Иваныча в Холодную явился к нему Пшеницын. Так как соляная поставка на всю губернию производилась через Максима Ильича с товарищем, то он, верный установленному порядку, почёл долгом принести новому приставу свою *акциденцию*.

— За что даёте мне эти деньги? — спросил Горлицын. — Не смею думать, чтобы вы, сударь мой, хотели меня подкупить на бесчестные сделки: вы не таковы — я слышал об вас от предводителя дворянства. За исполнение моих обязанностей? Мне за них государь даёт жалованье. Служба не торговля. По крайнему моему разумению, я понимаю её так: не знаю, как понимают другие.

— Это так водится, — отвечал, краснея, Пшеницын, смущённый неожиданными суж-

дениями философа.

— Не обижаюсь вашим приношением, если оно было сделано по заведённому порядку. Но, сударь мой, вы меня извините, я не брал до сих пор взяток и не хочу теперь начинать, даже под самыми благовидными предложениями. Может быть, оно и глупо, но — что ж делать? — это в моей натуре. Бывают разные странности. Вот я слышал, ваша супруга... Прасковья Михайловна — кажется, так имею честь её называть?

— Точно так. Вы хотите сказать: она боится птиц, когда летают по комнате. Кажется, медведя в лесу не более бы испугалась. Что ни делал, ничем нельзя было отучить её от этой странной боязни.

— Вот видите, кажись, птичка — маленькое, хорошенькое Божье создание, может стать, и певунья, утешала в клетке вашу супругу... Говорят, бойкая, бесстрашная барынька, а, извольте видеть, пташки боится. Ещё доложу вам, у меня малый — принимал сейчас с вас шубу — поверите ли, не может есть садовых ягод. Думал сначала: блажь на себя напустил для проказ, да и накорми его смо-

родиной. Что ж, сударь ты мой, — сделался нездоров, инда я сам испужался. Понимаете меня, Максим Ильич?.. Теперь об этом на веки веков ни словечка, я ни гу-гу, вы тоже... Обнимемся да будем вешать с вами соль, как стрелка на весах и на совести указывает, ни на мою, ни на вашу сторону, и останемся навсегда друзьями.

Пшеницын горячо обнял соляного пристава, даже с уважением поцеловал его в плечо [285] и вышел от него, как ошеломлённый. С того времени согласие между ними не нарушалось.

Действительно, Горлицын был философ, мудрец в своём роде. На одном жалованье, которое получал, не мог он жить в довольстве. Да о довольстве Александр Иваныч и не думал, лишь бы к истечению года концы с концами свести да, ложась спать, благодарить Бога, что услышал молитву его: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь... и не введи нас во искушение». И доходил он до исполнения своих умеренных желаний, сжимаясь, теснясь, отказывая себе во многом, что другим было обыденною потребностью, а для него роско-

шью. Занимая верхний этаж, как он называл светёлку с перегородкой на вышке, он отдавал внаймы за небольшую плату нижний этаж одной барыне — правда, скрепя сердце, потому что она была большая сутяжница, имевшая у себя притон подьячих. Впрочем, эти деньги откладывал для Кати в особенный секретный ящик. Одного из членов семейства, доставшегося ему по наследству, малого лет двадцати, отдал он в услужение кому-то за очень скромную плату. Девушка из этого семейства находилась в учении у портнихи. Оставались при нём старик и старуха, которых называл он Филемоном и Бавкидой[286]. Женская половина исполняла должность кухарки и прачки, а мужская, как я уже сказал, все должности. Из любви к своему барину, Филемон сделался портным и сапожником, чтобы не отдавать на сторону шить платье и сапоги, а когда Александр Иваныч намекнул ему, что не худо бы к приезду барышни выучиться и дамские башмаки шить, выучился препорядочно и этому мастерству. Платье Горлицын носил из толстого сукна, да и то, приходя домой, снимал, а на место егоoble-

кался в какой-то инвалидный ситцевый халат, давно отслуживший свой законный срок. Правда, была у него пара из щегольского английского сукна[287], которую не без труда и уловок подарил ему бывший корпусный товарищ, но её надевал он только в двенадцатые праздники[288]. Он берёт это платье как драгоценность, чтобы показаться в нём во всём блеске перед дочерью. Крепко наказывал он своему слуге почаще перебирать его, чтобы не забралась в него моль, приговаривая: «Ведь институтка, сударь ты мой, ричард ты мой возлюбленный[289], петербургская барышня, не то что здешние уездные девицы какие-нибудь, орешки себе грызут. Надо при ней и поприличнее себя показать, не удариться в грязь лицом. Красавица она у меня: разумница, ангелочек!» При этом от восторга, что имел такое сокровище, пощёлкивал пальцами, трепал своего старого слугу по щеке, потом охорашивался, смотрясь в зеркало, и подпирал руку в бок. Как будто молодец собирался на любовное свидание! А верный ричард, хотя и улыбался на радостные выходы своего господина, однако ж, думал про се-

бя: «Чем-то, голубчик, будешь содержать петербургскую барышню? Чай, неженка, не поутру ей будут наши щи да каша». Действительно, Александр Иваныч не был прихотлив на кушанье: ел то, что ели его люди; только позволял себе чай вместо лакомства. Мог бы он обойтись и без своего стола, потому что его беспрестанно приглашали то предводитель Подсохин, то Пшеницын откушать у них хлеба-соли. Первый жил от него в нескольких саженьях, нередко захаживал за ним и, провозглашая ему, что наступил адмиральский час [290], почти силою увлекал его к себе. И на этот счёт Александр Иваныч был очень деликатен, если не горд; хаживал обедать к тому и другому, но чаще к предводителю, с которым не имел служебных отношений, а иногда решительно отказывался от трапезы того или другого за делами или нездоровьем. «Разве нет у меня своего куска хлеба? — говорил он Филемону. — Не в нахлебники же идти! Хоть щей горшок, да сам большой» [291]. Провизию Горлицын ходил сам покупать. Зато с этого простого, совестливого господина лавочники, в уважение этих достоинств, брали без зазре-

ния совести лишнего по копейке с фунта[292]. Видали иногда, как он, прихрамывая, плетётся поутру с кулёчком в руках, из которого выглядывала то нога баранья, то рыбий хвост или огородная зелень. Если в это время встречалась с ним знакомая дама, он останавливался и, закинув левою рукою кулёчек за спину, подходил к ручке прекрасной особы. Пожелает ей доброго здоровья, тут же успеет сказать несколько приветствий насчёт её красоты и любезности. Кулёчек с мясом или рыбой не очень нравился некоторым прихотливым особам, которые, однако ж, дома не стыдились белыми ручками таскать своих девок за волосы, напомаженные коровьим маслом[293]; но потом попривыкли они к кулёчку, в уважение того, что Александр Иваныч всё-таки превежливый и приятный кавалер.

Покончив свои служебные обязанности, он уходил в свой садик, сажал плодовые деревья, цветущие кусты, сам ухаживал за ними в поте лица, как исправный садовник. «Вот, — говорил он сам с собою, — приедет Катя, сорвёт румяное яблочко с дерева, скушает его и подумает: ведь папаша приготовил ей эти яб-

лочки. И цветочками полюбуется да приколет к груди или в чёрные свои волосы — как хороша будет голубушка в этом наряде!» Выпросит иногда книжечку у Пшеницына, только с уговором, чтоб не сказывал охотнику писать, да почитает иное хорошенькое сочинение, раз и два, а как приедет к нему Подсохин, поспешит спрятать под подушку, будто запрещённый товар. «Очень понравилась мне эта книжечка, — скажет Пшеницыну, — как приедет Катя, попрошу у вас опять». Подчас заглянет в секретную шкатулку и сосчитает в ней крупную и мелкую монету. Вот уж накопилось в Катин банк пятьдесят рублей; авось к приезду её накопится ещё столько ж. И радуется он, как дитя, этому богатству дочери. А получать её письма, перечитывать их по нескольку раз, перебирать нежность и силу каждого словечка, будто разные лады музыкального инструмента, было для него высочайшим наслаждением. Для этого занятия заперся он на ключ, чтобы кто-нибудь не помешал его восторгам. Он целовал эти письма втайне, как нежный любовник, клал их, засыпая, под подушку, авось приснится ему Катя.

Радовался он, что милое дитя его здорово, делает успехи в учении и переходит всё в высшие классы. «Вот, — думал он, — осталось ей годик побыть в институте; вот уж и несколько месяцев». Ждёт и не дожждётся времени, когда обрадует его своим приездом. В этих сладких надеждах он забывал, что этот прекрасный цветок может поникнуть головкой под непогодами тяжёлых нужд, которые он, привыкший к ним, так безропотно переносит. Всегда довольный, всегда улыбающийся, Горлицын, кажется, и горестей никаких не знал. Разве сядет один-одинёхонек под сводом ночного неба на садовую скамейку и раздумается о своей покойнице. Смотрит на небо и ищет между звёздочками, в которой-то из них живёт душа её. Кажется, ждёт он: не взглянет ли оттуда она, не подаст ли голоса или хоть знака. Вспомнит про нежную её любовь; целая, прекрасная жизнь с нею пройдет перед ним; остановится на некоторых драгоценных часах и даже минутах. Грустно и сладко ему станет, и горячие слёзы потекут из глаз его. После того легче ему бывает возвращаться домой, как будто он в самом деле видел свою

бывшую подругу, будто беседовал с ней, и с весёлым лицом встретит своих домочадцев.

Так прошли три, четыре года его пребывания в Холодне. Здесь никто из его недоброжелателей не смел посягнуть на его место, потому что сам губернатор, наслышавшись об его бескорыстной службе, приказал своему чиновнику, ехавшему в Холодную, поклониться соляному приставу. Воздаяние чести только одному честному сильно действует на нравственность должностного общества. И потому этот необыкновенный знак внимания такой высокой особы к такому мелкому чиновнику заставил прикусить языки, изоцрѣнные против Горлицына, и забил тревогу в нечистых душах. Многие из прежних его противников стали заискивать его доброго расположения.

Был день летний. Александр Иваныч работал в своём саду, когда Филемон принёс ему письмо с почты. Слуга к этому прибавил: «От Катерины Александровны». Он не знал грамоты, но так уж привык к почерку своей барышни, что мог его сейчас угадать. «От Кати!» — сказал радостно Горлицын, бросил свою лейку, облив себя порядком водой, и, как делал

обыкновенно в важных случаях, перекрестился. Дрожащими руками развёртывает он письмо, сердце его необыкновенно бьётся; читая, он несколько раз переводит дух. Катя пишет, что здорова, что кончила курс своего воспитания. Государыня при выпуске сделала ей денежный подарок и, что для неё дороже всего, наградила её такими приветливыми словами, которые на всю жизнь залягут в её сердце. Выпущенная из золотой клетки, птичка прилетит через три недели на родное холоденское гнёздышко и припадёт к груди отца. Она будет ехать до Москвы с подругой и матерью её, а в Москву надо уж будет послать своих лошадей и прислугу, именно в такой-то день... Александр Иваныч, вне себя от радости, велит позвать Матрёну-Бавкиду, читает своим домочадцам письмо во всеуслышание, толкуя им силу каждого выражения. Немного запнулся было на словах: *своих* лошадей; лёгкая тень набежала на его лицо и сейчас исчезла. Он махнул рукой, примолвил: «Не беда, наймём славную тройку!» При этом случае Филемон спросил барина: где ж, по приезде, изволит проживать Катерина Александров-

на — не в одной же комнате с ним. «Отказать Чечёткиной, сейчас отказать», — закричал Горлицын, так что едва ли не слышала эти слова барыня, нанимавшая у него покои. Слуга покачал головой и скорчил жалкую мину в знак того, что этот подвиг не скоро можно будет совершить. И в самом деле нелегко было выкурить со двора барыню-сутяжницу.

Перезрелая дева, майорская дочь Чечёткина была сама по себе на подъём тяжела. Тучная, обременённая несколькими уродливыми выступами, она не иначе вставала с своего сиденья, как с помощью двух дюжих девок. Ноги её отекали, и потому, чтобы не стеснять их, носила башмаки с приплюснутыми задками. Когда же майорская дочка покоилась на своем седалище, при ней находилась неотлучно на полу живая машинка, лет десяти девочка, непрерывным трением возбуждавшая в них обращение крови. Если ж машинка от усталости останавливалась, госпожа, с своей стороны, возбуждала в ней движение добрым пинком ноги, а иногда пугала её, что татарам продаст. Калмыцкий облик, совиный взгляд, чёрные с проседью усы, которые щетинились, по-

тому что нередко подвергались острию ножиц, голос резкий, ударявший в уши, как свист паровика, возбуждали в созерцателе этих красот не очень приятное чувство. Приёмная комната её походила на канцелярию; в ней вечное сонмище подьячих, вечное совещание об исках, пропажах, проторях[294] и убытках, беспрестанный шелест от переворачивания листов и неумолкаемый скрип перьев. То оттягивала она несколько сот душ за крестьянина, который от предков её, во времена Петра I, бежал к одному помещику; то требовала пол-уезда, на основании малейшего сходства названий пустошей или угодий, которыми владела её прапрабабушка; то заложит в двое рук землю свою и старается отделаться от кредиторов, будто за несоблюдение законных форм. Во всех актах, которые она совершала, оставляла всегда лазейку для процесса. Придёт к ней родственник или знакомый, для того только, чтобы при будущей встрече с ней отделаться наперёд от какого-нибудь дерзкого приветствия, и начнёт она душиить посетителя своими делами. «Вообрази, батюшка, — говорит, — какой клад послал

мне Господь на днях. Еду я из своей подгородной деревни[295]. Вот, видишь, переезжаю речку Перекусиху, что за деревню Бабий Нос. А тут, видишь, в горку ужасенные сыпучие пески. Вечно умаешь на них лошадок... как приедешь домой, уж всё велишь лишний гарничок[296] засыпать, а овёс, знаешь сам, в прошлом лете не уродился у меня. Скажешь, Божья воля, батюшка? Что за Божья воля? Мошенник староста Сидорка поморил господских коровёнок, земли истощали. Уж и прочила его порядком — с новотёла корову под красную шапку; тьфу ты, пропасть! Корову... сына его под красную шапку[297], а корову таки привели за рога на господский двор. Вору вперёд наука!.. Скотина славная — немудрено, господским добром разбойник откормил — по ведру молока даёт... За то велю каждый раз при мошеннике Сидорке доить её...

— Что ж, матушка, клад-то ваш? — перебил её посетитель, боясь, чтобы она в увлечении своего рассказа не довела его до колыбельных пелёнок своих.

— Так вот, батюшка, едем по пустоши[298] Семенихине. А тут, знаешь сам, наколесил

нечистый дорожек промеж кочек, словно гнездо змеиное расползлось куда попало. Проклятое место! В недобрый час лесовик закружит тут прохожего или проезжего, так что столбняк нападёт...[299] Вот едем мы. Стала меня дрёма томить — от жару что ли, аль блинками нагрузилась. Хочу, хочу перемочь себя, а глаза так и липнут, будто мёдом кто их намазал. Осунулась да и окунись в мёртвый сон. И вижу во сне, вот словно тебя, батюшка, стоит передо мною старец, седенький, худенький, немудрёный такой, шапка облизанная, да и говорит мне: «Сестра Олимпиада, слышь, сестра Олимпиада, восстань с одра. Много лет ищешь ты урочища[300] «стыдно сказать», что отнял у твоего прадедушки незаконными путями сенатский курьер[301] Лизоблюдкин; много денег потратила межевым [302], а все попусту. Жаль мне тебя стало, бедную, сизую голубицу; хлопочешь, многострадалица, за грехи отцов твоих, и в девичестве из того пребываешь. Вот и привёл я тебя к урочищу «стыдно сказать», клад у тебя под ногами, а ты спишь, неразумная?» Испужалась я и обрадовалась; хочу, хочу встать — не

могу, словно меня верёвками связали по рукам и ногам. Рассердился старик да и толкну меня посошком в зубы. Встрепенулась я. Смотрю, овод так и снуёт перед глазами, а губу всю раздуло в грецкий орех. Кучер-мошенник спит, подлец-холоп спит, вот этот пострелёнок спит (тут указала Чечёткина на живую машинку, у ног своих), лошади стоят у какой-то ямы, понуря голову, и спят. Места незнанные, на веку моём видом невиданные! Грех таить, пощипала я таки порядком девочку, зачем спала, да пуще всего, зачем не доложила барыне, что кучер спит, а кучера своей владычною рукой потузила по загорбине. Сама люблю, батюшка, управляться — дело хозяйское! Уходила на нём сердце, протёрла себе глаза, знать, от сна заплыли, и вижу: у ямы прижался к межевому столбу мужичок — седенький, худенький, шапка общипанная. А за столбом целая палестина[303] с рожью — частая, густая, словно кудель[304], а колос-то, колос-то — поверишь ли, батюшка? — с добрую четверть[305], инда матушке бедной тяжело головкой покачивать. Меня дрожь так и проняла. Говорю мужичку: «Ска-

жи-ка, добрый человек, куда это мы заехали?» А он и брякни мне с сердцем: «Урочище «стыдно сказать»». Я так и обомлела. «Правду ли говоришь, добрый человек? — спросила я его. — А то, может статься, и нагрубить хотел нехорошею речью». — «Баю тебе, так и зовут», — сказал он, махнул рукой и поплёлся по меже. Вот, батюшка, десять лет искала-искала, сколько в межевых книгах порылись, а тут, благодать какая, за мою добрую душу и сиротство... (Чечёткина хотела было ткнуть ногой живую машинку, да воздержалась.) Старичок пожаловал мне справочку, уж подлинно сон в руку... Землица-то, батюшка, десятков тысяч стоит, да и деревеньку, что на ней поселена, оттягаем. Зато и не дремлю, не таковская голова! Уж и межевщика наняла, и поколенную роспись[306] написали. Приятель мой, что был секретарь уездного суда, знаешь, Сопелкин, клянётся и божится, что не миновать моих рук...

И начала Чечёткина описывать посетителю права свои на пустошь «стыдно сказать» и как сутяга, сенатский курьер, оттягал её несправедливыми путями у дедушки её. Посети-

тель осовел, начали чётки плясать перед его глазами, а в ушах будто били в набат. Отуманенный, оглушённый, он извинился недосугом по служебным делам (хоть на службе нигде не состоял) и утёк от майорской дочери, дав себе клятву впредь к ней не заглядывать.

Чечёткина, получив в наследство, от отца и брата, в разных губерниях прекрасные имения, из трёхсот душ состоявшие, в том числе холоденскую подгородную, довела эти имения до совершенного расстройтва беспорядочным управлением и разорила себя вконец сутяжничеством. Лес рубила на продажу, как попало, хлеб продавала на корню. В одной оброчной деревне[307] крестьяне были так истощены и вследствие того так изленились, так нравственно испортились, что продали большую часть своего скота и оставляли истощённые поля свои незасеянными. С июня отправлялись они целым обозом, будто цыганский табор, в одну из степных губерний для сбора на годовое прокормление своё. Из таких периодических путешествий они сделали даже род промышленности. Надевали опа-

лённые кафтаны, намазывали себе лицо сажей и с жёнами и малолетними оборванными детьми бродили врассыпную по деревням, возбуждая жалость хлебных степных мужичков историею своих пожаров. Обильные подаяния сыпались в их телеги. В одной из деревень, или в лесах, имели они свой притон, где делили, без обиды один другому, плоды своего промысла. А на возвратном пути собирали в городах и денежное подаяние. В таких случаях останавливались днём за городом и проезжали его ночью. Прибыв же в свои дома с возами, нагружёнными всяким хлебом, и с туго набитыми кошельями, пропитывались до будущего подобного путешествия, а из денежного подаяния уплачивали кое-как оброк и пропивали остальное в кабаках. Майорская дочь знала всё это очень хорошо, но смотрела сквозь пальцы на бродяжничество своих крестьян. В подгородной деревне состояние мужичков, довольно работающих, держалось ещё, как подгнившее дерево, которое скрипит от малейшего ветра, но ещё даёт зелень и плоды. Однако ж и там собственное хозяйство Чечёткиной было запущено. Скота приходилось

у ней на три десятины[308] по одной штуке, да и тот был заморённый. В полях она никогда сама не бывала. Луга её травили чужие крестьяне, между тем любила, чтобы её скот пользовался кормом на соседних паствах, а иногда и в чужом хлебе[309]. Дом был у ней каменный, двухэтажный, но обгорелый. Слышно было, что его подожгли в её отсутствие пьяные дворовые люди. Сама она проживала в бане. Зато уцелело от огня деревянное здание, сколоченное из досок, в виде башни, в котором собирала Чечёткина помадные банки, пузырьки, бутылки, обломки железа, половинки изразцов, заржавленные гвозди и всякую подобную рухлядь. Тяжёлый замок оберегал это сокровище от хищения, да при здании этом, днём и ночью, неотлучно находился переменный сторож. Жестокая кара пала бы на этого стража, если б он в урочное время не постучал в чугунную доску, висевшую у башни. Обо всём, что делалось в её отсутствие, знала Чечёткина от своих шпионов в юбке, которые, по приезде её в имение, тотчас рапортовали ей со всею подробностью. Разумеется, ей докладывали об одних мелочах,

а важные хищения и злоупотребления начальствующих лиц, бывших в кумовстве, сватовстве и хлебосольстве с этими женскими соглядатаями, закрывались очень осторожно. Птичница украла несколько яиц и прибила почти до смерти любимого барышнина индюка; дворовая девка выдрала за волосы так называемого крестника майорши, а может быть, и более близкого её родственника; пьяный мужик выбралил барыню мотовкой и колотыркой[310]: таковы были, большей частью, доносы преданных ей лиц. Особенно любила Чечёткина слушать скандальные истории соседей и даже дворовых людей и крестьян. Наконец Чечёткина дошла до того, что всё имение её было заложено и перезаложено [311]. От кредиторов бегала она из одной деревни в другую или в Холодную. Когда она жила в деревне, её писали в такой-то губернии; когда пребывала в такой-то губернии, объявляли, что обретается в Холодне[312]. Даже раз отозвались, что уехала в Томск. Всё состояние её висело на ниточке, которую порвать мог первый аукцион. Между тем Чечёткина отыскивала земель с пол-уезда и деньгами сотни

тысяч.

Вот эту-то особу нужно было Горлицыну выжить из своего дома. Нелегка была задача.

— Беспокоить меня, дочь заслуженного майора, для какой-нибудь девчонки, дочери соляного пристава! — кричала она в окно, когда мимо её по двору проходил хозяин дома. — Это ни на что не похоже; это одна бесстыжая харя может сделать. Да я не позволю над собой насмехаться. Я поеду к самому губернатору. Он троюродный брат моей двоюродной тетки. Какой ни есть хромой Иваныч должен бы, из уважения ко мне, загодя, хоть за несколько месяцев, объявить. Нет, батюшка, со мной шутить нельзя, не таковская досталась тебе. Заплатишь мне за протори и убытки.

Горлицын не расслышал и половины этой филиппики[313], потому что в самом приступе заткнул себе уши. Так и после делал, проходя мимо окон Чечёткиной.

Созвала майорская дочка на совещание синклит[314] подьячих и начала было диктовать прошение в городническое правление [315] с жалобой на Александра Иваныча. Но

только что приказный дописывал: «А о чём моё прошение, тому следуют пункты», как явился к самой Чечёткиной сам предводитель дворянства. Он убеждал её оставить хоть этот процесс, грозя, в противном случае, присоединить некоторые новые нечистые дела её, дошедшие до его слуха, к тем, которые были уже в ходу. Надо было видеть, как засверкали её совиные глаза, как зашевелились её усы и разразился крик её паровика. Подсох он не вынес и бежал из дому. Но вслед за ним девица Чечёткина, зная свои грешки, одумалась и, убеждённая одним из задушевных вождей её процессов, переехала на другой же день на новую квартиру, поближе к присутственным местам[316]. Только оставила Горлицыну письмо. В нём вывела по пунктам, что, вследствие варварских и неслыханных гонений её со двора, лишения её несколько дней пищи и несколько ночей сна, невзирая ни на пол, ни на девическое, сиротское состояние и высокое звание её, и вследствие неминуемых чрез то расходов на переезд, в том числе и за гербовую бумагу[317] на прошение, которое собиралась писать, она, нижеименованная Че-

чёткина, отказывается платить хозяину деньги за двадцать два дня, пять часов и тридцать две минуты.

Александр Иванович вздохнул свободно, когда потерял её из виду со всем скарбом её и челядинцами[318]. Однако ж озадачило его одно обстоятельство. В ящике стола и на полу найдены были какие-то бумаги, иные с гербовым штемпелем. Опасаясь, чтобы Чечёткина не затеяла процесса о похищении этих бумаг во время переезда, он позвал к себе полицейского чиновника и просил его, освидетельствовав их и опечатав, передать майорской дочери.

— Уф! Точно гора с плеч свалилась, — сказал Горлицын, отирая пот с лица, и приказал комнаты хорошенько вымыть, прибрать и выкурить можжевельником, чтобы духу майорского не пахло. После того вытребовал свою дворовую девку из учения и принялся нанимать ямщиков для посылки за Катей. Уговор был, чтобы лошади были смирные и добрые, чтобы кибитка была покойна, с просторным волчком и двойным рогожным навесом. Тройка была нанята исправная с желанным

экипажем и дёшево. Мудрено ль? Максим Ильич заплатил ямщику более половины денег, за которые был этот подряжен, но умел так искусно скрыть свою услугу, что Горлицын и не подозревал обмана. Горничная села в кибитке на почётном месте, в праздничном своём наряде, как пава на гнезде, боясь пошевелиться. Филемон, взобравшись на облучок[319], гордо глядел с высоты на всю холоденскую мелочь, как будто ехал за принцессой крови. Сколько наказов было, чтобы берегли барышню как зеницу ока, с гор потише спускались, по ночам не ездили, на надёжных дворах останавливались! Наконец кибитка тронулась со двора. Долго провожал её глазами Александр Иваныч, крестя вслед ей. Затем он, вместе с молодым слугой, которого также вытребовал ради торжественного случая, принялся холить садик, проводить по нём новые дорожки, усыпать их песком, обрезать и подвязывать кусты и давать всему, сколько возможно, лучший вид. То зайдёт с одной стороны, то с другой, как бы всё это сделать приятнее для глаз. Портрет жены его, исполненный художнической кистью и очень

схожий, был поставлен в комнату, назначенную для Катинной спальни. Этот портрет писал живописец грек, не из денег, а из любви к искусству. В проезд свой через Нежин, увидав жену Горлицына вскоре после их свадьбы, он был поражён её типическою южною красотою до того, что пожелал сохранить её черты на полотне, и написал два портрета, один для мужа, а другой для себя. К встрече Кати придумано даже было, вместе с Максимом Ильичом, чтобы Ваня сказал приезжей стихи, которые недавно читал так хорошо графине и которые общим совещанием найдены приличными для произнесения на этот торжественный случай. Подсохин, узнав об этом, порывался было написать своего рода приветствие, но отделались от этого сочинения по той причине, что мальчик не любит учить на память прозы.

С трепетом сердечным стал Горлицын дожидаться прибытия молодой хозяйки, как он называл свою Катю. То выбегал по нескольку раз в день на высокий берег Холодянки и смотрел, не видать ли на мосту кибитки с известною тройкой и людьми. То доходил до са-

мого моста и караулил тут проезжих. Везде являлся он щёголем, в нарядной паре из английского сукна, да и малому своему строго наказывал, чтобы одевался как можно опрятнее и поменьше сопел, этого-де барышня не любит. Даже по ночам вставал с постели и, отворив окно, прислушивался, не усиливается ли звук колокольчика, по временам едва отзывавшийся вдали.

Между тем вот что происходило с Катей, ожидаемой так нетерпеливо в Холодне. Во-первых, надо сказать, что отец её не преувеличил нимало, назвав её красавицей. Перед ней становились подружки на колени с знаками обожания. Посетители института, не смея вслух восторгаться её наружностью, нередко останавливались перед ней, как будто изумлённые собранием стольких наружных совершенств в одном лице. Даже самые женщины, увидав её, невольно говорили: «Как она хороша!» «А что моя красавица?» — спрашивала о ней нередко государыня[320].

Тонкие правильные черты, возвышенный лоб, густые, чёрные волосы, очертание губ, едва оттенённых нежным пухом, стан, рост,

формы — всё в ней было изящно, роскошно. Разве прибавим, что в чёрных глазах её, осенённых длинными ресницами, под чёрными дугами бровей, почти сходящихся вместе и придававших ей несколько гневный вид, не было игривого блеска, не было неги. В них, как бы сказать сравнительно, отражался зной летнего дня с его грозowymi тучами. Взгляд их, глубокий, вдумчивый, чарующий, налегал на вас тяжело, томительно, мог возбуждать только страсть в страстной душе, а не привлекать к себе лёгкие натуры. Смуглый отлив её кожи, с весьма слабым румянцем на щеках, напоминал в ней кровную расу южной страны. Смотря на портрет её матери, гречанки, которую художник с такою любовью передал полотну, можно бы подумать, что он списал его с дочери. И в характере Кати было что-то южное. Со всеми подругами своими она была хороша; но, избрав раз одну из них в друзья себе, предавалась ей совершенно и ни с кем уж более не делила своих задушевных мыслей и чувств, какие могут быть только у институтки. Для неё готова она была на всякие жертвы. Сколько раз Катя принимала на себя

вину своего друга! Учению предавалась она горячо. Вне классов, когда она не занималась уроками, видали её занятою горячею беседой с её другом или одну, погружённую в глубокую, не по летам, задумчивость. Если ж и разыгрывалась Катя, что случалось очень редко, то это была мгновенная, бурная вспышка, которая в несколько минут пробежала электрическим током по всей веренице её подруг и расстроивала чинный порядок заведения. Она была так добра, что готова была отдать лучшую свою вещь той, которой эта вещица понравилась. Зато глубоко принимала обиду и не скоро прощала её. Когда она вышла из института, ей было восемнадцать лет.

В самый Петров день[321] Катя приехала в Москву. Она застала уж там посланных отцом её. Катя очень им обрадовалась, поцеловала старого слугу и свою новую горничную, расспрашивала их долго об отце, об его житье-бытье, о Холодне. Посланные со всею дипломатическою тонкостью старались представить всё холоденское в благоприятном виде. Несмотря на убеждения своей подруги и матери её, Катя, простившись с ними не без

слёз и обещав другу своему переписываться с нею до гроба, отправилась в путь с первым просветом зари.

Дорогой всё её восхищало: и живописные места, увенчанные Мячковским курганом [322], и крики девочек, просивших булабочки, и длинные ряды косцов, в красных рубашках, рассыпанных по широким, привольным москворецким лугам, и пёстрые вереницы крестьянок, раскидывавших для просушки скошенную за два дня траву. Она рукою навела на себя воздух, напитанный ароматическим запахом трав, и с наслаждением дышала им.

Накануне лил целые сутки дождик, и ямщик, боясь вязкого пути в крутую гору у Мячковского кургана и за нею по глинистой дороге, по которой надо было плестись шагом до самых Б-ц, решил ехать окольною луговою дорогой. Здесь (немного пониже того места, где ныне устроен плавучий судовой мост на шоссеиной дороге) был переезд вброд через Москву-реку. Ямщик ручался головой, что перевезёт барышню без опаски. «Сто раз переезжал», — говорил он. К тому ж люди Горлицы-

на только за два дня ехали тут же без приключений. Поколебался, однако ж, старый слуга, снял в раздумье раз и другой фуражку и опять надел, не преминув почесать голову. Но в то же время зазвенел чужой колокольчик. Какой-то барин, в щегольской бричке [323], на тройке прекрасных лошадей, догнал кибитку и смело поворотил с большой дороги на луговую. Тут слуге Горлицына нечего было раздумывать. Он приказал ямщику следовать за бричкой и не отставать от неё. Подъехали оба экипажа к берегу реки. Широко расстились по нём песчаные голые отмели, на которых волны оставили свои следы грядами; слышен был грустный, однообразный плеск речного прибоя; по реке не ходили валы, но как-то порывисто, страшно бежали густые, как массы растопленного стекла, воды, мутные от вчерашнего дождя, и, казалось, готовы были захлебнуть всё, что преграждало им ход. Вид этот немного смутил молодую девушку. Передовой экипаж, на котором откинут был верх, чтобы он не парусил, спустился в реку. Надо было искусно пробираться извилинами по гребню, образовавшемуся на дне

реки, чтобы не попасть в глубокие омуты, находившиеся близ самого гребня. Правивший лошадьми должен был, как опытный кормчий, знать здесь все удобные и опасные места. Через несколько саженей господский кучер стал забирать влево, но ямщик не последовал за ним и взял крутым поворотом вправо, сказав только: «Щёголь! Неладно едет; не потонуть бы им». «Так закричи же им», — сказала испуганная Катя. Только что успела она это выговорить, а ямщик закричал: «Бери вправо, олух; дурак ты этакой, осёл вислоухий, утопишь ни за что барина!» — как вся господская тройка разом погрузилась в воду, так что стали видны только головы лошадей. Бричку начало покачивать и вскоре заливать. Господин и слуга, сидевший подле него, поджали под себя ноги; ноги у кучера и сидевшего с ним рядом другого слуги болтались в воде. Казалось, эти люди плыли на каких-то обломках экипажа. Лошади боролись с сильным потоком, увлекавшим их вниз по течению реки, наострили уши и храпели, подняв свои морды. Видно было, что они потеряли под собою землю и начали плыть. Кучер, до-

селе молодцеватый и самонадеянный, растерялся: то ухватится одною рукой за железный ободок козел, чтобы не свалиться с них, то дёрнет без толку лошадей. Голос его замер. Колокольчики уныло переговаривали по водам. «Господи, спаси их! Милосердный Боже, спаси!» — закричала вне себя Катя, высунувшись из кибитки и подняв руки. Барин, сидевший до того в каком-то угрюмом спокойствии, слышал эти слова. Он взглянул на ту, которая их произнесла, привстал разом с своего места, несмотря на то что должен был погрузить ноги в воду, наполнявшую уже экипаж, вырвал у кучера вожжи и с окликом, огласившим оба берега, круто и сильно повернул лошадей в правую сторону. Животные, возбуждённые этим повелительным голосом, казалось, получили новые силы, рванулись, куда были направлены, и грудью пошли против напора стремнины, валившей на них. Борьба была отчаянная, на жизнь и смерть! Вскоре, однако ж, лошади ухватились передними ногами за гребень, по которому ехала кибитка. Сначала вынырнула из воды холка их, потом показалась и спина; наконец

приподнялся и экипаж. Тут уж не было более опасности. Лицо Кати просияло; она перекрестилась. В это время бричка начинала сближаться с кибиткой. Господин, не сделав никакого замечания кучеру, спокойно передал ему вожжи. Сядясь на своё место, он скинул картуз[324] и глубоко поклонился Кате. Он слышал, как молилась спутница его, посланная в эти роковые минуты самим Провидением для его спасения, успел только мельком увидеть её лицо, испуганное, но прекрасное, чёрные и выразительные глаза, обращённые к небу; потом, когда он выбрался из опасности, видел, как было радостно её лицо, как она крестилась, — и глубоко сохранил в душе своей эти мимолетные видения. Не могла так же не оставить сильного впечатления в душе Кати ужасная картина, которой она была зрительницей. Навсегда врезались в её памяти и сердце бегущие мутные воды, готовые разом поглотить четырёх человек, и вставший из среды их статный мужчина, который, как бы могучий кормчий, схватил руль погибавшего в волнах судна и разом вынес его из опасности. Как хорош, величав был незнакомец,

с распушенными по ветру волосами, среди грозной стихии, над которою, казалось, господствовал! Этот вид должен был сильно поразить девушку, воспитанную в стенах института-монастыря, где всё так тихо и правильно, где все дни так похожи один на другой. Подобное зрелище могла она видеть разве на гравюре, изображающей Петра Великого на ладье, с изломанною мачтою, во время морской бури[325]. Оба экипажа благополучно переехали на другой берег, но с этого времени щегольская бричка следовала уж за смиренною кибиткой.

Приехали в Б-цы. Тогда там не было гостиницы. Лучший постоялый двор находился на главной улице[326]. В него въехали, одна за другою, кибитка и бричка. Из кибитки выползла сначала горничная; за нею только что успела Катя ступить на подножку — её принял не один старый слуга, а ещё незнакомое лицо. Это был спутник её, в котором она принимала такое живое участие. Лицо его было выразительно и привлекательно. Ему могло быть лет тридцать с небольшим, но серебряные нити изредка пробирались уже в густых

каштановых волосах. Катя могла это заметить, потому что незнакомец скинул свой картуз. Катя без жеманства подала ему руку свою и, сходя с подножки, принуждена была опереться на его руку.

— Благодарю вас, — сказал он с чувством, — вам обязан я спасением своей жизни и этого никогда не забуду.

— Помилуйте, что ж я могла сделать? — отвечала Катя краснея, — это мой ямщик... А как я перепугалась за вас!

— С этих пор могу дорожить жизнью, — сказал незнакомец, но, увидев, что спутница его ещё более краснела от его слов, примолвил, — позвольте вас спросить, кому обязан я так много?

Катя сказала свою фамилию, прибавила, что едет из института в Холодную к отцу своему, тамошнему солянному приставу, поклонилась приветливо незнакомцу и быстро поднялась на лестницу. Несколько минут простоял он на одном месте, изумлённый красотой своей спутницы, простотой её манер и речи, и смотрел ей долго вслед, хотя она уж исчезла.

Он остановился в комнате рядом с тою, ко-

торую заняла Катя, и имевшею особенный вход. Чувствуя озноб от сырости, так долго державшейся в его обуви, он желал бы напиться чего-нибудь горячего; но не велел людям своим требовать самовар, единственный на постоялом дворе, пока не напьётся соседка. Как же удивился он, когда старый слуга её принёс к нему самовар. «Барышня велела отнести к вам, — сказал Филемон, — вам нужнее; небось, порядком намокли. Извольте-ка поскорее горяченького испить: это больно пользительно». Разумеется, сосед, тронутый таким вниманием хорошенькой соседки, рассыпался в благодарностях. Она слышала их за перегородкой.

Филемон был любопытен. Он скоро узнал от людей этого господина, что его зовут Иван Сергеевич Волгин, что он очень богат, имеет поместья в разных губерниях и едет в Холодную хлопотать о вводе его во владение прекрасным имением, которое недавно досталось ему в Холоденском уезде. Ему было только тридцать четыре года, да рано седина в голове засела, и немудрено — много горя в жизни видел: женился очень молод, а с женою ра-

достей не знал. Была больно зла, от того вскоре после брака и с ума рехнулась, с тем года два тому назад и в землю пошла. Детей у них не было. Барин же душа предобрая; житьё у него такое, что и на волю не захочешь. Только часто одолевает его тоска, инда подчас жалко на него смотреть.

«Славный женишок был бы для барышни, даром что седина в волосах пробивает», — подумал Филемон, но не сказал вследствие дипломатической осторожности. Это рассуждение про себя закончил верный ричард глубоким вздохом, который можно бы перевести следующим образом: да где ж нашей бедной холоденской пташке залетать в такие высокие хоромы!

Камердинер[327] Волгина спросил Филемона, не знает ли он хорошенькой квартиры для его барина. «Цену дадим хорошую», — примолвил он. Как не знать! Словно нарочно к этой okazji, напротив дома Горлицына отдавались четыре комнаты в доме бессемеяного купца, который хотя и в нужде, а ищет смирного, хорошего постояльца. Не хотел отдать барыне Чечёткиной оттого, что большая

сутяжница и девок больно бьёт. Снимет с себя башмачище, впору доброму мужику, да и начнёт шлёпать по щекам; а каков час, и скалкой отвалывает. Чего ж лучше этой квартиры для Волгина! На обоюдных любезностях слуги соседа и соседки выпили несколько пар чайку [328] с пожеланиями оставаться соседями и в Холодне.

Через несколько часов лошади наших путешественников были выкормлены и отдохнули. Кибитку подали к крыльцу, но бричка стояла на дворе незапряжённая. Катя, прежде чем сесть в свой бедный экипаж, осмотрелась, как будто искала и надеялась встретить своего временного соседа. Её начал сильно занимать незнакомец. Уж и она стала думать, не само ли Провидение назначило им первое роковое свидание на переправе. Не проезжай она вовремя с надёжным ямщиком вброд, немудрено, что незнакомец мог бы потонуть. То представлялся он ей сидящим спокойно во время опасности, то видела, как он, будто по слову её, разом вышел из своей апатии и энергически вывел экипаж из омута, который готов был поглотить его. Не укрылись от

взгляда Кати и ранние его седины, и грусть, оттенявшая его бледное лицо. Мудрено ль, что интерес происшествия, вместе с чувствами удивления к его отваге, и сострадание к нему сильно зашевелили её пылкое воображение и доброе сердце. Невольно вспомнила она слова его: «С этих пор могу дорожить жизнью». Не простое, приличное только к случаю, приветствие заключалось в них: слышалось в голосе его глубокое, задушевное чувство.

Волгин не вышел в сени проводить Горлицыну, чтобы из этого не сделали какого-нибудь заключения дворовые их люди и хозяева постоянного двора, охотники, как и вся братья их, выводить из всякой безделицы догадки своего рода. Для этой же причины он не хотел ехать вслед за нею. Между тем сильно затронула и его сердце интересная Катя Горлицына со всею романической обстановкой настоящего дня.

Наконец Катя в Холодне. Отец в парадном платье сторожил на берегу Холодянки. Она выпрыгнула из кибитки и упала в его объятия. Ласкам с обеих сторон не было конца.

Александр Иваныч не насмотрится на неё, не налюбуется ею. Любовь его к дочери была какая-то благоговейная, как будто не к земному существу. Так дивно хороша она ему кажется, так напоминает мать свою! Пошли в гору. Горлицын задыхался от усталости и радости. Катя хотела вести его под руку; он долго спорил, наконец победа осталась за нею. В несколько минут осмотрела она своё новое жилище, находила его слишком обширным, просила отца обменяться комнатами: на этот раз он восторжествовал. Увидав портрет матери в своей спальне, она со слезами пала перед ним на колени. Ей казалось, мать улыбалась ей, посылала ей свой привет и благословение. Не знала Катя, как благодарить отца за то, что поместил с нею в спальне такую дорогую подругу. Отныне будет она ежедневно отдавать ей отчёт в каждом тайном помысле, в каждом необыкновенном движении души. Птичкой облетела она сад; полюбовалась цветами, подышала их запахом, приколола розы к груди, в волосы и с межи садика успела налюбоваться живописными видами.

— Боже мой! Как это хорошо! Да это рай

земной! — твердила она.

— Это всё твоё, душа моя, — говорил Александр Иваныч.

— Всё моё! — восклицала она и целовала руки у отца, как будто принимала от него в дар дом, сад, окрестность, всё, что глазами могла только окинуть.

С этого времени он называл её молодой хозяйкой.

На третий день Горлицын, счастливый, гордый, выпросив экипаж у Пшеницына, повёз свою молодую хозяйку с визитами по городу. Везде, куда приезжал, казалось, говорил: «Смотрите, какова моя Катя! Полюбуйтесь ею!» И как было ему не гордиться таким сокровищем? Везде показала она себя скромною, любезною, приветливою; нигде не выставляла превосходства своего воспитания и ума над девицами, мало образованными, с которыми познакомилась; со всеми из них охотно делилась новостями о покроях платья и разных петербургских нарядах, которые составляют важный предмет любопытства даже не одних провинциалок. Все хвалили её, некоторые с завистью, большая часть от ис-

креннего сердца. Во всех домах, где она была с отцом, говорили: «Ну уж дочка у соляного пристава! Нечего сказать, красавица таки, и разумница, и уважительна к старушкам. Ведь сама государыня жаловала её в институте. Не худо бы, дочки, и вам перенимать её деликатность и придворное обращение. Уродилась, видно, под счастливой планидой[329]. Только вряд ли скоро женишка найдёт: бесприданница! Отец гол как сокол, а красота не одевает и не кормит. За бедного идти самой не приходится, из куля да в рогожу»[330]. Но майорская дочь Чечёткина, не выдавши Кати в лицо, с особенною злобой отзывалась, что одни холоденские неотёсанные дуры могут найти в ней что-нибудь хорошее; амбиции вовсе не имеют, унижаются перед дочерью соляного пристава. Даже готова была затеять процесс о том, что приезжая и не так красива, и не так воспитана, как об ней говорят.

Ваня Пшеницын мило прочёл Кате стихи. Мальчик ей очень понравился. Она целовала его в дутые, румяные щёчки, в глаза, исполненные живости и наблюдательности, убирала его шёлковые кудри, падавшие по плечам.

Объявила также, что он отныне будет её пажом. Когда ж узнала, что его зовут Ваней, ещё более осыпала его своими ласками. Заметив книжный выговор его, когда он произносил стихи, вероятно, по примеру своего наставника-семинариста, вызвалась, от нечего делать, давать мальчику уроки в том, что сама знала. Александр Иваныч боялся, что это будет ей трудно. Пшеницыны обрадовались предложению, но совестились принять его, хотя втайне и имели намерение сыскать случай поприличнее отблагодарить дочь Горлицына. Катя настояла на своём. Восемилетний мальчик очень любил ласки девиц и дам, только хорошеньких, любил целовать их белые, нежные ручки и засматриваться на их глазки. Он прыгал от радости, что его учителем будет хорошенькая Катя вместо долгополого семинариста, у которого голова с овин[331], вечно в пуху, голос гнусливый, как будто ему прищипили чем-нибудь нос; к тому ж говорил не так, как другие люди, всегда на *о* и на *аго*, свысока, иной раз и не разберёшь, что толкует.

Катя была в восторге от всего, что нашла в

Холодне, и особенно от своего домика и садика. Но по временам закрадывалось в её сердце воспоминание о переправе через реку и образ интересного дорожного спутника. Не могла она дать себе отчёта, к чему, на какой конец все эти думы, эти впечатления. Ведь она дочь незначительного соляного пристава, а Волгин, очень богатый человек, вероятно, уж и забыл странную встречу, которая только для неё, простодушной институтки, была занимательна. Он и не думает о ней: это легко понять из того, что давно приехал в город, а в дом их не показывается.

Она рассказала отцу всё, что с нею случилось в дороге, утаив, разумеется, впечатление, произведённое на неё Волгиным. Александр Иваныч крестился и благодарил Бога, что дочери послал счастливый случай спасти от такой беды четырёх человек, а пуще всего, что сама избавилась от беды. Не скрыла, однако ж, Катя от отца своего, что слышала о Волгине от старого слуги.

— Кабы видели, папаша, какой он, беденький, грустный, — говорила она. — Если придёт, приласкайте его хорошенько.

— Как же, как же, душечка, — отвечал Горлицын. — Жаль, человек не старый, а сколько горя претерпел! Только найдёт что-то, а видели его в суде дня с три.

Эти слова заставили Катю сказать про себя с досадой: «Какой же он негодный!»

Действительно, Волгин дня с четыре был в Холодне; но, противясь, неизвестно по какой причине, собственному желанию увидеть Катю и переехать на квартиру против Горлицына, о которой уж многие ему говорили, искал себе, с необыкновенным упрямством, по разным частям города другого помещения. Однако ж удобной квартиры нигде не отыскалось, и он поневоле пошёл смотреть ту, которую указывал Филемон его людям. Катя видела из своего садика, как Волгин пришёл осматривать дом соседа, как вышел из него, после, на другой день, в него переехал, выходил и выезжал со двора, но ни разу ему не показалась. А он — он желал увидеть хоть край её одежды. Странно! Ему стоило только сделать несколько шагов через улицу, чтобы увидеть её самую. Наконец он не выдержал и послал своего слугу к Горлицыну просить позволения

представиться ему, приказав также сказать, что он тот самый, который обязан так много Катерине Александровне. Горлицын отвечал, что будет очень рад дорогому гостю. Во время этих переговоров сердце Кати сильно замирало. Она желала и как будто боялась этой встречи.

Гость был принят на парадной половине Катерины Александровны. Молодая хозяйка не показывалась. С обеих сторон обменялись простыми, задушевными приветствиями. Волгин извинялся, что ранее не исполнил своей обязанности, за недосугами по делам в суде. Катя всё ещё не приходила. Отец, отворив несколько дверь в другую комнату, сказал: «Что ж ты, Катя, нейдёшь посмотреть на утопленника с того света? А сама ещё...». Он не договорил, потому что дочь лукаво погрозила ему пальцем. «Сейчас», — был ответ из другой комнаты. Как ни старалась она, махая на себя веером, освежить своё лицо, на котором румянец жарко разыгрался, не могла в этом успеть и вынуждена была, с разгоревшимся лицом, показаться гостю. Обворожительно хороша она была в эту минуту! Красно-

та её, не обременённая дорожными принадлежностями одежды, в которой видел её Волгин, озарённая горячим душевным колоритом, так смутила его, что он растерялся и видимо отыскивал слова, чтобы начать с нею разговор. В эти минуты можно было принять его за новичка в свете, и даже не очень умного. Но, оправившись, он успел завязать с Горлицыным интересный разговор, в котором выказал ум свой, знание людей и образование, довольно редкое в тогдашнее время. Старик у него очень полюбился с первого раза. Потом обратился к Кате, расспрашивал о впечатлении, сделанном на неё Холоднею, не позволяя себе ни малейшей насмешки насчёт городского общества, как это обыкновенно делают приезжие из столиц в провинцию, и спросил, не скучает ли она о Петербурге.

— Мне здесь так хорошо, как нигде не бывало, — отвечала она. — Скромная жизнь здешняя мне очень нравится. Там я жила в палатах; вспоминаю о них с благодарностью, с любовью, потому что в них получила воспитание. Всё-таки это была клетка, хоть и золотая... Но здесь, по милости папаши, я хозяйка,

вольная птичка. А посмотрите сюда (она указала Волгину из окошка на вид за рекой): это всё мои владения. Никто не мешает мне наслаждаться ими.

— И ничто? — спросил Волгин.

— И покуда ничто, — сказала Катя.

Вскоре Горлицына стали вызывать в другую комнату по делам службы. Ему надо было идти, а между тем он совестился оставить гостя. Волгин заметил это и спешил сократить своё первое посещение. Но через день пришёл опять.

Молодая хозяйка повела своего гостя в сад и отсюда указала ему на лучшие виды. Слова её придавали каждому предмету тот художественный или поэтический образ, который только избранные натуры могут угадывать и уловить в созданиях природы и искусства, в наружности и душе человека. Волгин восхищался садом, восхищался местностью, но более увлекательною, живописною речью своего прекрасного чичероне[332].

— Если вы так любите природу, — сказал он ей, — что ж с вами станется, когда всю эту прекрасную картину застелют снега?

— А люди? Разве их нет здесь? Со мною отец, который для меня всё. Здесь я нашла добрых и любезных людей, в семействе предводителя, ещё кое-где. Вот, даже в семействе купца Пшеницына... Вы с ним, конечно, не успели ещё познакомиться?

— Купца? Нет... я ещё... не познакомился. Да что ж, особенно вам, с вашим образованием, можно найти приятного в семействе холоденского купца?

— Познакомьтесь, и вы скажете совсем другое. У этого купца прекрасная русская библиотека. Такой, конечно, нет у всех дворян вместе здешнего уезда. Этот купец живёт с большим приличием. Не говорю вам об его доме: в нём найдёте, вместе с роскошью, вкус и любовь ко всему прекрасному. Скажу только, что он выписывает иностранца учителя для своего сына, премиленького мальчика, что он хочет дать ему отличное воспитание [333].

— Вы меня удивляете.

— Познакомьтесь, я вам советую, и полюбите там моего пажика Ваню. Видите, я уж набираю здесь свой холоденский штат.

— И, верно, успешно. Вам стоит только взглянуть, сказать слово, и преданные служители стекутся к вам со всех сторон. А меня, старика... приняли бы вы в число их, этих верных, преданных служителей?

— Старика? (Катя засмеялась при этом слове.) Какой же вы старик?!.. Вас я... знаете ли, какую должность я бы вам дала?

— Желал бы очень знать, к чему удостоите.

— Вас сделала бы я начальником своего холоденского флота. Вы так отважны на водах...

— Мог бы я сказать — немудрено: я служил во флоте. Но, чтоб не солгать, скажу: меня в опасные минуты, на которые вы намекаете, одушевляли ваш взгляд, слова, которые вы произнесли, когда молились за нас, и, скажу ещё более, желание жить, от которого я было отвык...

— Разве вам так рано наскучила жизнь?

— Наскучила было; я сделался ипохондриком[334]. Но... вы говорили, что поручили бы мне свой холоденский флот. Я почёл бы за счастье быть хоть рулевым на том корабле, на котором вы сами поплывёте. О! тогда не боялся бы ни бурь, ни подводных скал.

— Благодарю вас. Но как вы скоры!.. Я не успела ещё заслужить такой горячей преданности. Мы видимся только в третий раз.

— А путешествие по водам? Оно стоит годов знакомства. Не вам ли обязан...

— Это сделал Бог.

— Но вы были орудием Его.

— Благодарю за это Бога и буду вечно в молитвах своих благодарить.

— Поэтому вы будете помнить и спасённого вами.

— Уж конечно.

— Забудете.

— Никогда.

Это слово было так энергически сказано, как будто бы Катя давала священный обет в роковую минуту жизни. Кажется, более с обеих сторон нельзя было сказать: так скоро увлеклись они чувством, которое старались оправдывать предопределением судьбы.

В одно из первых затем посещений Волгина Катя, заметив, что сосед был очень грустен, сказала ему:

— Знаете ли, я желала бы видеть в своём штате людей весёлых, счастливых. А вы... (Ка-

тя не докончила.)

— Говорите.

— Я только что со школьной скамейки и потому скажу вам с простодушием институтки и участием доброй соседки: на лице вашем вижу часто грусть, которая как будто вас преследует. Вот теперь... признайтесь.

— Следы меланхолического характера... Ещё прибавлю — и я буду с вами откровенен, как преданный вам человек — может быть, оттого что я в жизни своей не знал счастья, именно сердечного, душевного счастья. Лучше скажу, я был очень, очень несчастлив. Но как же вы... заметили?

— Видно, у женщин есть для этого особенный инстинкт. Как, отчего, я вам теперь не растолкую. Когда-нибудь после... с летами, с опытами, хотела я сказать... я до этого дойду.

— А ваш инстинкт отгадает ли, что у меня теперь на сердце, кроме печальных мыслей о прошедшем?

— Теперь?.. Нет, моя премудрость отказывается от этой разгадки.

— Жаль, вы прочли бы в этом сердце надежды на лучшие дни. Может быть, безрас-

судные надежды! Но всё-таки они обольстительны. Не знаю, что случилось бы со мною без них.

Подошёл к собеседникам Александр Иванович, который до этого обрезывал сухие сучья на деревьях, и разговор сделался общим.

С этого времени Волгин и Катя видались чаще. Видеться, говорить друг с другом сделалось для них потребностью жизни. Уж и отец её полюбил своего доброго, умного соседа, который умел так хорошо рассказывать о морских сражениях под начальством Чесменского и Ушакова[335], о Греции, родине предков Горлицыной, где природа так хороша, женщины так похожи на портрет, висевший в спальне Кати. Случалось, Волгин не придёт день, другой, и шлют к нему посла: приказали-де сказать, соскучились по вас соседи. А иной раз Катя прибавит: адмирал велит своему капитану немедленно явиться к нему по делам службы. Иной раз Горлицын увидит, что сосед сидит пригорюнясь у своего окна, и махнёт ему рукой, а дочка из-за него покажет своё хорошенькое личико: этого было довольно, чтобы сосед сейчас явился. Ужение подле

мельницы, прогулки по реке и в роще, путешествия на богомолье в ближайшие монастыри[336], по обетам, которые каждый держал про себя, — всегда с отцом, иногда с семействами предводителя и Пшеницыных, с которыми приезжий успел познакомиться, — сблизили ещё более Катю и Волгина. Вместе наслаждались красотами природы, веселились одними удовольствиями, вместе в храме молились и, может быть, об одном и том же. Улицы как будто между ними не существовало: казалось, они жили и засыпали под одною кровлей. Хотя между ними не было произнесено слово любви, оно было уж неоднократно высказано в их глазах, в движениях, в прерванной речи, даже в пожатии руки. Катя любила первою и последнею своею любовью; порывы её страстной души были сдерживаемы только чувством стыдливости и приличия и правилами, данными ей в институте. Не укрылись от отца взаимные чувства дочери и Волгина; партия для неё была блестящая, какой и во сне ему не снилось. Сначала смотрел Горлицын на любовь их с удовольствием, потом она стала пугать его.

Прошло три месяца с того времени, как Волгин жил в Холодне и между тем не делал предложения. Дело его по вводу во владение именем было кончено; однако ж он не выезжал из города. Раз как-то дал он Горлицыну понять тёмными, таинственными намёками, что у него есть какие-то обстоятельства, которые ещё мешают ему яснее открыться... Что бы это такое было? Отец ломал себе голову над догадками, сердце дочери разрывалось от неизвестности. Родителей у Волгина нет; следовательно, он волен располагать своею судьбою. Горлицын подумал, нет ли у него тайной связи, которую он желает разорвать, может быть, детей, которых обязан обеспечить. Эта мысль очень тревожила старика, слыхавшего нередко, как человеку, особенно честному и благородному, трудно бывает выпутаться из подобных связей, в которые люди вступают часто без участия сердечного. Ещё более встревожился Горлицын, когда стали доходить до него слухи, что в городе кумушки, завистницы и сплетницы, начали чесать язычок насчёт короткого знакомства соседа и соседки. Бог знает, чего тут не прибрали[337]!

Все эти обстоятельства заставили Александра Ивановича держать себя с соседом в отношениях более размеренных. Волгин уже не был приглашаем так дружески; Катю не оставляли с ним одну и даже заметили ей, чтобы она была осторожнее. Катя любила сильно, но вынуждена была признать основательность этих замечаний и с глубокою грустью, с тайными слезами исполнила волю отца.

Волгин не мог не заметить этой перемены. Он разрывался от досады, проклинал свою судьбу и — молчал. Зато погрузился в какую-то ожесточённую деловую переписку, точно заразился страстью майорской дочери Чечёткиной. Знали, что он никому не поручал тайн этой переписки и сам занимался ею; знали, что он не отдавал своих писем и посылок на местную почту, а посылал её с доверенным человеком в другой ближайший городок и оттуда получал всю корреспонденцию. Тайнственность эта возбудила в Холодне ещё более толков насчёт его и нанесла новое огорчение Горлицыну, который с каждым днём видел, что Катя его делается всё грустнее и грустнее. Осень обнажила её садик,

успехи ученика её Вани не утешали её более, всё кругом её приняло мрачный вид.

Что ж могло останавливать влюблённого Волгина просить руки той, в чувствах которой он сам был уверен? Вот что:

Всё, что о несчастной жизни Волгина сказали его люди старому слуге Горлицына, было справедливо. Об одном они только умолчали, что сумасшедшая жена ещё была — жива.

II

Лет за десять, с небольшим, до происшествия на описанной нами переправе через Москву-реку, в одном из подмосковных губернских городов[338], именно на святках, появился блестящий метеор. Это был морской офицер Волгин. Двадцати трёх лет, свободный обладатель богатого имения, оставленного ему отцом и матерью, привлекательной наружности, умён, ловок, он в несколько дней сосредоточил на себе всё внимание избранного городского общества. Ныне прозвали бы его львом. В то время почли бы такое прозвание слишком низким[339]; мода, а за нею художники, писатели и весь хотя несколько образованный люд, лезли, во что

бы ни стало, на высоты недостижимые. Зато сами обитатели Олимпа, по велению этой моды, сходили на землю, даже в губернские города России, куда только проникал свет из очагов столиц, роднились с простыми смертными и давали им свои имена и качества. И потому богини-девицы губернского города N с душевным замиранием ждали, не поднесёт ли счастливейшей из них Парис-Волгин золотого яблока[340]; не одна неутешная Калипсо молила небеса о сердцекрушении юного мореходца у берегов её очаровательных владений[341]. Не одна маменька, скажу низким слогом, старалась, как можно лучше, скрасить свой живой товар, чтобы сбыть его в такие дорогие руки. У всех них был один напев мужьям, чтобы употребили все возможные и невозможные средства привлечь в свой дом такого завидного женишка для их единственной дщери или одной из бесчисленных дочек. Во что бы ни стало подай Волгина! За удовольствие иметь его у себя на обеде, вечере, фантах[342] и других святочных увеселениях тогдашнего времени спорили, как ныне спорят за честь и удовольствие иметь у себя в

доме севастопольских героев[343].

Закружился было Волгин в этих увеселениях. В танцах ему не давали отдыха. В менюэте *la reine* это был настоящий Аполлон, по отзыву прекрасного пола. Никто так грациозно не вёл своей дамы в польках, не делал в контрдансах таких мудрёных антраша и шассе battu. А казачок? Хотя Волгин, по тогдашнему обычаю, исполнял его в башмаках с страховыми пряжками и шёлковых чулках[344], старики отзывались, что родовитый казак лучше его не пропляшет своего национально-го танца. То пригласит его мать сделать честь пройтись с её дочерью, не имевшею ещё случая танцевать с таким ловким кавалером и выказать свои таланты, развитые в столице. То очаровательная девица мимоходом бросит на него молнию своих глаз, которая могла бы поднять и мёртвого — а в Волгине, казалось, было две жизни — и понесётся он в следующем танце с своею очаровательницей. Никого так часто не поднимали со стула в игру *soseda* и не требовал к себе *оракул*; ни на кого так горячо не пал жгут в доказательство, что чем сильнее бьёшь, тем сильнее любишь[345]

. Зато ничьих фантов столько не было, как Волгина, а фанты в то время, большей частью, выкупались бесчисленным счётом поцелуев.

Приезжая к себе с рассветом дня, утомлённый, разбитый, Волгин не чувствовал, как слуга раздевал его и укладывал в постель. Только во сне всё ещё мерещились ему огненные и томные глазки, тоненькие и толстенькие губки, и отдавался в ушах его звук сладких речей. На другой день встанет свеж, здоров, весел, и опять за те же упражнения. Мудрено ль? Он был так молод, не знал за собой горя и не видал его перед собой.

Чаще других посещал молодой моряк дом Сизокрылова, очень значительного лица в губернском городе, и потому чаще, что у этого лица был сын, приятель Волгина. Молодые люди вместе поступили на службу, вместе делали одну морскую кампанию, вместе кутили. Приняв наследство, Волгин поехал в губернский город познакомиться с властями, с которыми имел дела по своим имениям, повеселиться и повидаться с своим бывшим товарищем, вышедшим уже в отставку. Не ис-

пытав ещё ни измены любви, ни измены дружбы, мало знакомый с светом, он видел во всех людях одни добрые, благородные качества. За молодого же Сизокрылова, умевшего доказать ему свою дружбу многими послугами, готов был, как говорят, на ножи. Напротив того, этот друг, хотя и немного постарше Волгина, но ловкий, пронырливый, перегоревший уже в опытах жизни, с первого раза, как увидал его в своём семействе, схватился за счастливую мысль загнать эту дорогую птичку в расставленные сети. И вот на какую приманку.

У него были три сестры. Старшая, Гликерия, по календарю[346], и Лукерия, по народному произношению, была красивее и бойчее других. Она танцевала менуэт, как королева французская, пела русские песни, как малиновка. Если б заглянуть в акт её крещения, можно бы по нём счесть ей двадцать пять лет. Но кто ж пойдёт справляться с актами? Наружность и родители давали ей только двадцать лет. В свете это была самая привлекательная из девиц губернского города N. Увы! Местные женихи знали, чем она была

дома, и потому не посягали на счастье или несчастье назвать её своею супругой. По этой-то причине и засиживалась она в девическом состоянии. Младшим сёстрам, хотя и не с такими блистательными наружными качествами, но добрым и любезным, представлялись достойные партии, и напрасно. Мать их, женщина неразумная и бестолковая, страстно любившая старшую дочь, баловавшая её с малолетства, и слышать не хотела, чтобы, помимо её идола, шли меньшие её дочери к брачному алтарю. Старшую дочь величала она Лукерией Павловной, а меньших не иначе называла, как девчонками. Вы думаете, что баловень-дочка платила ей такую же любовь? Нимало. Часто Лукерия Павловна хохотала над своею маменькой, когда та, за неимением бровей, разрисовывала себе неправильно брови так, что одна уходила концом вверх, а другая углом загибалась на веки; часто прикрикивала на неё, говорила ей в глаза, что она необразованная, степная барыня, а за глаза, при сёстрах и домашней прислуге, честила её даже и дурой. Мать приказывала, а дочка отменяла приказание, не для того, что считала

своё распоряжение лучшим, а для того, чтобы поставить на своём. Чего не терпели от неё две Сандрильоны[347], её меньшие сёстры! Покупка и выбор для них материй на платья, покрой этих платьев, причёска, выезды, даже рукоделья, — всё, что могло радовать и утешать эти бедные жертвы, зависело от домашнего властелина, всё получалось от каприза или великодушия его. Сёстры не могли любить Лукерию Павловну, но боялись её и льстили ей из надежды щедрых её милостей. Зато мало уважали мать, которой несправедливое предпочтение любимой дочери возмущало их душу. Властолюбивая, нетерпеливая и вспыльчивая, Лукерия Павловна жестоко обращалась и с своей прислугой. Сколько раз её ручка оставляла красное пятно на щеке её горничной! Даже раз удостоилась эта несчастная кровавого возмездия булавкой за то, что, одевая свою барышню, слегка нечаянно уколола её. Вот какое сокровище готовил молодой Сизокрылов своему другу! Виды были не глупые. Он хотел, во-первых, избавиться от домашнего тирана, под зависимость которого и сам находился, хотя и в меньшей степе-

ни, нежели другие члены семейства; во-вторых — занять место этого властелина и чрез то свободнее удовлетворять свои страстишки, до сих пор стесняемые контролем сестры. Надо сказать, что и сынок был маменькин баловень, но занимал только второе место в сердце её и в доме. Пожалуй, удовлетворение этих видов могло принести пользу меньшим сёстрам, которым, вслед за старшею, открывался выход из нерадостного дома родительского. Тогда-то молодой Сизокрылов мог бы распоряжаться своею маменькой как хотел.

Отец, не мешавшийся ни в какие домашние распоряжения, озабоченный только делами и через них приобретением денег и ежедневно искавший развлечения от служебных занятий в карточной игре, довольно сильной и счастливой, не знал и не хотел знать, что происходит в его семействе. Он дал, какое мог, воспитание детям; безотговорочно, по требованию жены, выдавал ей деньги на расходы, протягивал каждое утро и каждый вечер свою руку сыну и дочерям для обычного лобызания и уверен был, что выполнением этих обязанностей делает всё, что повелевал

ему долг отца и главы дома.

Волгину нравилась Лукерия Павловна, пожалуй, немного более других девиц. Ни с кем он так охотно не рисовался в менюэте, как с нею; с удовольствием заслушивался её соловоного голоска, наслаждался её живою, умною болтовнёй, говорил ей комплименты. Но особенной любви к ней не чувствовал, тем менее думал искать руки её, несмотря на все старания братца выставить её в самом привлекательном виде. С своей стороны, Лукерия Павловна, искренно, без расчётов на богатство Волгина, всеми силами души пылкой, необузданной полюбила друга своего брата. Не зная до двадцати пяти лет, что такое любовь к кому-нибудь, лишь только извела её, она предалась ей безгранично, с тем увлечением, с каким предавалась своим худым наклонностям. Казалось, любовь преобразовала её. Ласкаясь к матери, угождая сёстрам, особенно внимательная к брату, добрая с прислугой, она как бы хотела вознаградить всех их за прошедшие несправедливости и оскорбления. Все в доме были веселы, счастливы, прислуга крестилась.

Был званый вечер у Сизокрыловых. В этот день любовь придала голосу, речи, всей наружности Лукерии Павловны какое-то особенное очарование. Она действительно была хороша. Моряк ею одною только и занимался.

В одном из антрактов между танцами он стал отыскивать её в зале и, не найдя, прошёл анфиладу[348] комнат, наконец пробрался в какой-то отдалённый уголок дома. Здесь царица этого вечера сидела на диване одна, в глубоком раздумье, опустив голову на грудь, скрестив руки. Восковой огарок слабо освещал комнату. Услышав чьи-то шаги, Лукерия Павловна вздрогнула и подняла голову. Печальный и вместе знойный взгляд её упал прямо в сердце молодого человека. Волгин не мог ему противиться и сел возле неё. Несколько слов было им сказано с восторгом о том впечатлении, которое она сделала в этот вечер и особенно на него. Отвечали с глубоким вздохом, что если она желала нравиться, так это одному только. Затем дрожащая ручка попала как-то в его руку; он горячо поцеловал её, ещё раз и ещё. Как-то нечаянно набрёл брат на эти поцелуи. Он показал вид,

что ничего не заметил, отворил дверь в соседнюю комнату и закричал: «Чаю мне!» — потом присел к смущённой парочке, будто для того, чтобы помешать повторению слишком нежных сердечных изъяснений. Разговор упал на очень обыкновенные предметы. Но вскоре смычок подал свой призывный голос, и все трое отправились в зал, чтобы снова пуститься в выделывание разных затейливых фигур и па, строго предписываемых в тогдашнее время законами моды.

Когда разъехались гости, молодой Сизокрылов зазвал к себе в своё холостое отделение Волгина вместе с близким своим родственником, тоже молодым человеком. Надо было ковать железо, пока оно было горячо. Подали вина; хозяин не жалел его. Пошли горячие изъяснения дружбы. Волгин, отуманенный напитками и ещё свежими сладкими воспоминаниями, провозгласил тост: «Нынешнего вечера царице и хорошенькой сестрице!»

— Послушай, брат, — сказал Сизокрылов, — мы с тобою друзья; я это, кажется, доказывал тебе не раз на деле. Но есть шутки,

которых и дружба не терпит равнодушно.

— Я не шучу, — отвечал с горячностью Волгин.

— Надеюсь, и поцелуями, на которых я давеча застал тебя. Зашёл, брат, далекомько!.. Добро б ещё к случаю, при многих, а то наедине, в дальней комнате... ты не знал, что это спальня Луши (он лгал); ты не знал, что подле чайная комната и люди видели всё из неё... Теперь при постороннем, хотя и моём родственнике, ты вздумал хвастаться тостом за здоровье хорошенькой!.. Ваня, я этого не ожидал от тебя...

И Сизокрылов закрыл себе глаза руками.

— О! когда так, зови сейчас сюда свою сестру. Я никогда не делал неблагородных дел и это докажу. Говорю тебе, проси сюда с отцом и матерью... Я повторю при них.

— Сюда?

— Воля твоя, у меня ноги подкашиваются, и я не в силах взойти наверх.

— Послушай, опомнись, не вино ли говорит в тебе?

— Вино?.. Смотри, брат, есть границы и для дружбы, ты сам сказал.

— Когда так, видно, на то воля Божия! Иду, но прежде, друг и брат, сюда к сердцу, которое предаю тебе на жизнь и смерть.

Приятели горячо обнялись, и Сизокрылов, боясь, чтобы слово, в чаду опьянения, не выдохлось скоро, отправился радостным вестником на половину своих родителей. Третье лицо, пировавшее с ними, заключило также в свои объятия будущего своего родственника.

Упавшая с неба манна или груды золота не могла бы так изумить и обрадовать стариков Сизокрыловых и любимую дочку, как неожиданная весть, принесённая им дипломатом-сынком. Несмотря на странность вызова по такому важному случаю, в пять часов утра, в отделение молодого Сизокрылова, отец, мать и Лукерия Павловна, в чём их застала эта весть, — один без парика и галстука, другая с остатком брови, третья в интересном беспорядке, — поспешили исполнить волю дорогого жениха. При появлении их в комнату, где недавно оргия была в разгаре, где не успели ещё прибрать бутылок и бокалов, предложение Волгина было повторено и запечатлено поцелуем жениха и невесты. Нашли

ещё нужным, чтобы до настоящего обручения они поменялись кольцами, которые случились у них на руках. Это делалось будто в силу какого-то древнего поверья, а скорее для того, чтобы Волгин не забыл, проснувшись, что он жених. При пожелании счастья будущей чете вспрыснули их шампанским. Требовалось подсластить вино, и Волгин в восторге целовал без счёта свою наречённую, упоённую так же своим неожиданным счастьем. Расстались все довольны. Молодой Сизокрылов отвёз своего приятеля на его квартиру, уложил сам в постель и щедро одарил людей его, не забыв прибавить, что это делается от имени невесты, Лукерии Павловны.

В полдень проснулся Волгин, разбитый, с отяжелевшею головой, сердитый, смутно помня роковое событие утра, как будто виденное во сне. Но удостоверили его в этом событии поздравления слуг и незнакомое кольцо, сиявшее на его руке.

Воротить прошедшего было уж невозможно, и через две недели состоялась свадьба.

Хотя Волгин о приданом и не спрашивал, *молодая* принесла ему в свадебной корзине с

лишком сто душ, много серебра и все другие предметы роскоши[349], которые в подобных случаях отпускаются с дочкой богатыми и нежными родителями. Замечено, однако ж, было, что в число женской прислуги, вошедшей в роспись приданого, по собственному выбору Лукерии Павловны, отпущены такие личности, которые не награждены были от природы очень хорошеньким личиком.

Казалось, ангел-хранитель молодой четы уберёт медовый месяц их от всяких неприятностей. Счастливой, влюблённой парочке завидовали. Волгину не было причин раскаиваться в браке, так нечаянно, экспромтом состряпанном, и он не каялся. Он полюбил жену искренно. Но вскоре начали обнаруживаться в ней вспышки ревности. В первые месяцы несколько сдержанные новостью положения и приличием, они в последующие стали развиваться. Иногда, без всякого повода, Лукерия Павловна умоляла мужа, чтобы он клялся ей в вечной любви и верности. Это сначала смешило его. Видя в этих просьбах только порывы сильной к нему привязанности, он исполнял её желания, но замечал при-

том жене, что если благородный, с твёрдыми правилами человек раз дал клятву при алтаре Божьем верно любить свою жену, так новые обеты совершенно лишни; ветреного же мужчину и клятвы не удержат. Повторение этих просьб стало надоедать Волгину. Иногда супруга надуется на него, не говорит с ним несколько часов. За что? За то, что он вёл несколько живой разговор с хорошенькою дамой или девицей. Случалось даже, что Лукерия Павловна наговорит колкостей этой даме или девице. Терпеть эти оскорбления никто не находил нужным. Замужние женщины платили ей тою же монетою, за девиц заступались матери, и от этих ссор выходили неблагоприятные истории, падавшие всем бременем своим на голову бедного Волгина. Дом молодых супругов стал понемногу пустеть; вследствие того и выезды их сделались реже. Волгин любил танцевать. Ему посоветовали, а потом потребовали, чтобы он не танцевал более, потому что мужчина, посвятив себя раз избранной им женщине, не должен находить удовольствие ни в чём с другою. И это требование вынужден был исполнить, не по слабо-

сти характера, а для того только, чтобы избежать домашних ссор или гласного оскорбления, на которое жена, забыв всякий стыд, не раз покушалась. Даже сёстры получали от неё обидные выговоры за то, что осмелились слишком любезно говорить с её мужем. И сёстры ограждали себя холодными отношениями к человеку, которого любили как достойного всякого уважения родственника, и ограничивали беседу с ним одними лаконическими ответами: да-с, нет-с.

— Помилуй, сестра, — говорил Лукерии Павловне братец-дипломат, — я устроил твоё счастье, а ты, как безумная, ставишь его вверх дном. Муж тебя любит, но есть мера и терпению. Ну, если б и в самом деле маленькая неверность... эка беда!

— О! тогда я убью его, — возражала Лукерия Павловна, — или сама убьюсь.

Довольно было всех этих выходов, чтобы ожесточить мужа. Но, как вспышки, они скоро проходили, уступая глубокому, искреннему раскаянию. Кто увидал бы в это время несчастную, пожалел бы её. Она падала перед ним на колени, целовала его руки, обливала

их слезами и умоляла простить её безрассудство, клянясь, что исправится. Волгин, добрый до бесконечности, любя ещё жену и стараясь сам себе оправдать эти вспышки одною безмерною любовью к нему, великодушно прощал. И мир воцарялся между супругами хоть на несколько недель. Тем более Волгин считал долгом быть снисходительнее, что Лукерия Павловна была в *интересном* положении. Каких странностей и капризов не приписывают этому положению! И он любил относить к нему ж припадки её ревности. Зато сколько утешений принесёт обоим супругам первенец их! Благоразумие, мир, счастье должен он был водворить в семействе! Такими надеждами лелеял себя Волгин и окружил жену заботами и угождениями, как нежный любовник.

Был летний месяц. Они поехали на несколько недель в деревню. На беду случилось, что в это время приехала к ним замужняя дочь его родной тётки, женщина очень приятная и любезная. Приём ей сделан был радушный. И хозяева, и гостья были веселы. Волгин повёл кузину показать ей хорошень-

кий свой сад, которым любил особенно заниматься. Жена, по нездоровью, осталась дома, но, подстрекаемая своим демоном, не могла противиться его наущению и отправилась вслед за ними. Она не пошла по дорожкам, а стала пробираться кустами. Вдруг видит, муж и кузина[350] его идут рука под руку... они смеются... потом как будто поцелуй... Никакого поцелуя не было: ей всё мерещилось. Лукерия Павловна, не помня, в каком она положении, бросается вперёд и падает на пенёк... Ушиб был силён, страдания велики; но ни одного стога не вырвалось из груди её. Чего не вытерпела она, один Бог знает! Скрывшись за кустом, Лукерия Павловна дала пройти мимо её мужу и госте и потом кое-как дотащилась до своей спальни, не сказав никому, что с нею случилось. На другой день родился мёртвый ребёнок. Причина этого несчастного случая была скрыта и от мужа. Положение её сделалось опасно, но через два месяца она оправилась с помощью искусного врача и сладкой уверенности, что муж её любит, потому что во всё время болезни почти неотлучно находился у её постели, как самая усердная сидел-

ка. Урок был ужасный!

Между тем от болезни и беспрестанных душевных тревог Лукерия Павловна начала худеть и дурнеть. Глаза её впали, в них потух прежний блеск и что-то дикое выразалось по временам, как у зверя, который хочет, но боится броситься на свою жертву; кожа её приняла шафранный[351] цвет. Зеркало и демон её каждый день наговаривали ей, что муж, который моложе её и так хорош собой, должен скоро перестать её любить. Ревность её, которая с каждым днём росла более и более, стала изобретать для себя разные видения и избирать низкие средства, чтобы удовлетворить себя. Наконец в два последующие года страсть эта приняла такие ужасающие размеры, что сделала для Волгина дом его настоящим адом. Я забыл сказать, что через несколько месяцев после их свадьбы он вышел в отставку; а теперь, потеряв всякое терпение, решился бежать от жены и вступить вновь в службу с тою надеждою, что откроется морская кампания или учёная экспедиция, которая отделит его на несколько тысяч вёрст от домашнего тирана. Если б он уехал, жена

преследовала бы его на край света: были уж и на это намёки.

В эти два года Волгин был истинным мучеником. Лукерия Павловна как стоокий аргус [352] следила все его поступки, все его шаги. Подкупала людей, чтобы ей доносили, куда муж ездит, с кем видается, что делает. Люди брали деньги, смеясь же над нею, но не могли лгать на барина, и потому эти средства сделались для неё недостаточны и неверны. Иногда, вечером, надев салоп своей горничной и безобразный капор [353], отправлялась к дому, где находился её муж, и выведывала через какого-нибудь подосланного постороннего человека, кто из дам были в доме. И если случилось, что ей назовут имя женщины, на которую падало её подозрение, то, по возвращении мужа, сыпались на него упрёки, от которых он убегал в свой кабинет, где и запирался. Но и через дверь слышалось ещё долго её беснование. Письма его, если были приносимы в его отсутствие, подвергались её контролю, после чего она их вновь запечатывала как могла. Все шкатулки его были перерыты... Волгин хотя и замечал эти проделки, но,

не имея особенных секретов от жены, пожимал только плечами и молчал. Когда ж письмо получалось при нём, Лукерия Павловна была уж тут, в его кабинете, и из-за плеча его старалась прочесть, не скрывается ли какой-нибудь тайной связи в послании. Муж преспокойно отдавал ей письмо и просил прочесть его вслух, так как она все руки хорошо разбирает, а почерк этого письма неразборчив. Казалось, нельзя было иметь большего терпения и снисхождения. Этими-то орудиями он хотел победить ревность жены. Иногда покажется ей, что муж чем-то смущён; что, при внезапном появлении её, он чего-то испугался, и начнёт требовать у него отчёта в таких чувствах, от которых он был совершенно далёк. «Скажи мне, друг мой, милый мой, — говорила она ему, — если ты действительно любишь кого, так лучше признайся мне... Для тебя я пожертвую своею любовью: откройся мне, ради Бога, я тебе всё прощу». «Никого не люблю и лгать на себя не намерен», — отвечал резко Волгин на подобные вопросы, делаемые для того, чтобы вовлечь его в ловушку. До такого простодушия и

ослепления доходила безумная страсть! В другой раз представится ей, что из его комнаты вышла какая-то женщина, и уж ей слышится шелест женской одежды... На всех хорошеньких женщин в деревне она злилась и всегда искала случая чем-нибудь оскорбить их. Но горничным её доставалось более всех: они терпели настоящую пытку. То взглянула слишком умильно на барина, то оделась пощеголеватее, чтобы понравиться барину. Одна из них вздумала кокетливо убрать свою чудную, густую косу, и коса была острижена. Другая, по подозрению совершенно несправедливому, отдана замуж за горбуна-крестьянина.

Часто эти бешеные припадки кончались тем, что она становилась на колени перед мужем и умоляла прибить её.

— За кого принимаешь меня, безумная? — говорил Волгин. — Унизиться до того, чтобы наложить руку на жену?.. Это может сделать только пьяный лакей или мужик. Довольно стыда и от твоих дел; не с обеих же сторон безумствовать и позориться перед людьми и Богом.

Ещё чаще кончались припадками ревности истерикой и ужасными страданиями. Какие чувства могли оставить в сердце мужа все эти сцены, кроме ожесточения? Только изредка сострадал он несчастной, как будто больной, одержимой неисцелимою болезнью.

На третий год своего замужества Лукерия Павловна сделалась опять беременна. Радость будущему появлению в свет сына или дочери не мог уже Волгин по-прежнему. Что ожидает это дитя, когда оно осмыслится, когда поймёт ужасный характер матери, несчастное положение отца и станет посредником между ними? Может статься, отец вынужден будет бежать от жены и ребёнка своего; может статься, этого ребёнка выучат ненавидеть имя отца. В Лукерии Павловне, несмотря на её положение, не произошло никакой благоприятной перемены; казалось, её ревность достигла высшей силы своего безумия. Сыскалась женщина, старушка, присланная ей матерью, как будто из ада, именно для того, чтобы следить за поступками Волгина. Из угождения барыне своей она старалась потворничать её страсти. Между разными кле-

ветами эта мегера передала однажды горяченькую вестъ, что видели, как Иван Сергеевич ласкал дочь своего садовника. Может быть, и действительно Волгин сказал пятнадцатилетней девочке ласковое слово, потрепал её рукой по розовой щёчке — небольшое ещё преступление, тем более что девочке был он крёстным отцом! Её до сих пор любила сама Лукерия Павловна, знавшая, что отец и мать воспитывали дочь в строгих правилах. Но довольно искры, брошенной в душу ревнивой женщины, чтобы произвести пожар. Лукерия Павловна потребовала от мужа вопиющей несправедливости: выдать пятнадцатилетнюю девочку замуж, и за крестьянина. Волгин возразил, что девочка слишком молода, дочь любимого им, заслужённого дворового человека, никакого преступления не сделала, что крестнице своей готовит он женихом сына своего приказчика из другой деревни. Отказ этот возбудил новые подозрения. Лукерия Павловна стала горячо настаивать. Муж отказался наотрез.

— И так довольно несчастных из угождения твоей ревности, — прибавил он, — глубоко

ко раскаиваюсь и в том, что был участником в этих гнусных делах.

— Так выбирай любое, — сказала Лукерия Павловна, — или дочь садовника завтра замуж, или завтра меня не будет на свете.

— Делай что хочешь, — отвечал с твердостью Волгин, — а я не отступлю от своего решения. Бог и совесть мне это приказывают.

Тогда произошла сцена ужасная. Когда я слушал рассказ о ней, сердце моё обливалось кровью. Довольно, если я скажу, что эта женщина, превратившаяся в дикого зверя, в минуты исступления стала бить себя в грудь... потом удары сыпались по чём попало... Волгин, перед этим только что выходявший из двери, тотчас возвратился, но не имел времени остановить её. Лукерия Павловна на другой день родила сына, носившего слишком явные признаки ушибов и прожившего только одни сутки. Молоко бросилось у неё в голову, и она лишилась рассудка навсегда! Да, навсегда, несмотря на все пособия искуснейших врачей столицы, куда несчастный муж отвёз её, несмотря на все попечения и заботы, которым усердно посвятил себя. Было отчего и са-

тому ему сойти с ума! В несколько дней показались у него седины на голове. Целые полгода не отлучался он от жены. Что ж? сыскались люди, которые с голосу отца и матери Лукерии Павловны осуждали Волгина, говорили, что причиной её сумасшествия ветреный образ его жизни и худое обращение с женой. Но совесть его была чиста; он ни в чём себя упрекнуть не мог. Лучшие лета его жизни принесены ей в жертву; не век же ему было оставаться зрителем и участником невыносимых страданий. Волгин уехал из дому своего, оставив Лукерию Павловну на попечение домового врача и избранной наёмной прислуги, и вступил вновь в службу.

Долго ещё преследовали его ужасные видения... Во всех морских сражениях, в которых случалось ему участвовать, он искал смерти и не нашёл её. В продолжение пяти лет получались им одни и те же извещения, что жена его всё в том же состоянии. Один врач не мог вынести более двух лет тяжкого ухаживанья за сумасшедшею. Отец и мать взяли её к себе, и так же долго не выдержали этого бремени. Принуждены были перевезть её в дом умали-

шённых. Через несколько времени Волгин получает письмо из Петербурга от одного из двух братьев отца своего. Дядя описывал ему безнадежное состояние Лукерии Павловны и советовал расторгнуть брак, столько лет существовавший только по имени. «Я старый вдовец, — писал ему дядя, — детей не имею; брат мой так же; ты один после нас остаёшься из нашего рода. Неужели погаснуть ему? Тебе только тридцать два года. За легкомысленный поступок молодости, за необдуманый шаг, ты уж заплатил девятью годами страданий. Природа, закон, справедливость и Бог приказывают тебе выйти из твоего настоящего положения. Выбери себе жену по сердцу, только чтоб была гораздо моложе тебя. Не смотри на богатство, на блестящее наружное воспитание; ты сам богат, всё наше с братом достанется тебе же. Пускай выбор твой падёт на бедную, хоть самую бедную дворянку, но только с добрым сердцем, скромную. Верь моим предсказаниям, ты ещё будешь счастлив. Приезжай в Петербург; посмотри, какие у нас милые, образованные, воспитанные в строгих религиозных правилах девицы выходят из

института. С стряпчими советовался о твоём деле; головой ручаются за успешный исход его. Препятствий нет и быть не может. Ещё скажу тебе, писал к старику Сизокрылову. (Супруга его отошла на вечное житьё; всему злу корень была. Ещё бы сказал... да грех тревожить память покойников недобрыми словами.) Получил от него ответ благосклонный. Чего ж ему? Возвратили всё имение дочери со всеми доходами за несколько прошедших лет и всё приданое её до последней нитки. Теперь стал мягко стлать. Пишет, что христианский долг повелевает ему помочь тебе в расторжении брака. Тебя во всём оправдывает. Это письмо будет служить важным документом, когда начнётся дело. Видел я и её, несчастную, в заведении... В несколько минут она мне рассказала (и всякому рассказывает) ужасные вещи, которые только беснующаяся ревнивая женщина может изобрести. Я, старик, краснел, слушая её... Если б женщина в полном разуме сказала бы вслух то, что эта несчастная говорила, она достойна была бы позорного столба. Как описать тебе её наружность? Это пятидесятилетняя женщина, остов

человека, готовый разрушиться. Доктора говорят, что она может скоро умереть и может ещё несколько лет протянуть».

При чтении этих строк Волгин облил их слезами. Это была последняя дань женщине, которая так долго носила его имя. Но с этого времени сердце его раскрылось для надежд лучшей жизни. Он сделался неравнодушен к советам дяди, вышел в отставку и начал дело о разводе. В первой инстанции духовного суда оно было решено; в высшей должно было скоро решиться так же благоприятно для него [354]. Как писал дядя, законных препятствий наконец не оказалось. Но во время ожидания этого окончательного решения умер другой дядя, оставивший племяннику в наследство имение в Холоденском уезде. Встреча с Катей на Москве-реке была роковая. Сама судьба указывала ему будущую подругу его жизни. Он видел в ней благодетельного гения, пришедшего избавить его от ужасных оков, в которых до сих пор находился. Первый взгляд на неё, первые слова, ею сказанные, решили его участь. Познакомившись с Катей, он нашёл в ней ту избранную, которую назначал

ему дядя в письме своём. Она воспитывалась в Смольном монастыре, была скромна, добра, образованна и любила его — в этом он уверился. Волгин, приехав в Холодную, боялся сблизиться с нею, как будто совесть запрещала ему вступать в новые сердечные связи, которые законы не могли ещё освятить. Мы видели, однако ж, что противиться влечению сердца он не был в состоянии.

И прежде знакомства своего с дочерью Горлицына отдано им было, раз навсегда, его людям приказание сказывать везде, где не знали его несчастной истории, что он вдовец. «Таким образом, — думал он, — избавлюсь от тягостных расспросов и сожалений». Полюбив же Катю, радовался, что сделал это распоряжение, без которого был бы ему заграждён путь к сердцу её; но по временам не мог не тревожиться за последствия этой уловки, противной его благородным правилам. Дело сделанное поправить было невозможно. Только уверившись во взаимных чувствах к нему Кати, Иван Сергеевич открыл всё дяде своему и умолял его поспешить окончанием дела. «Высвободите меня, — писал он к нему, — из

ужасного положения, в которое я себя вновь поставил, и откройте мне доступ к моему благополучию». Дядя в ответ посылал ему своё благословение и обнадеживал, что решение дела не замедлит. Сказать же Горлицыну, что брак ещё не уничтожен, когда это обстоятельство было скрыто прежде, боялся, не решался Волгин. Между тем новая гроза вставала над его головою.

В таком состоянии были дела его, когда мы в Холодне расстались с ним и с семейством Горлицына.

Вскоре после того в Холодню пришёл пехотный полк[355]. Военный блестящий строй, развевающиеся знамёна, изувеченные в славных екатерининских битвах[356], статные офицеры, ловко выкидывающие разные фигуры своими эспантонами[357], грохот барабанов, торжественная музыка, — всё это было ново в уездном городке. Спавшее до сих пор население его проснулось и зашевелилось. Толпа дивилась треугольным шляпам на офицерах и солдатах, пучкам их и пуклям, красным отворотам[358] и бегала за военными, как за пришельцами из чужой земли. Во вре-

мя вечерней зари весь город стекался около гауптвахты. Это был настоящий праздник [359]. И в сердцах прекрасного пола забил барабан тревогу. В полку было несколько красивых, отважных офицеров, готовых идти смело на всякий приступ.

Военные имеют особенный дар — тотчас по приходе на новые квартиры узнавать, где живут хорошенькие дамы и девицы. Разумеется, большая часть их познакомились с Горлицыными и стали оспаривать друг у друга счастье понравиться Кате. Со всеми была она свободна, приветлива, ровна, старалась, как молодая хозяйка, чтобы в доме отца её не скучали, но никому не показывала предпочтения. Как скоро же замечала, что за нею начинают слишком ревностно ухаживать, умела скоро дать знать своему поклоннику, что это ей не нравится и успеха его искательству не будет. Никогда самый храбрый из этих рыцарей не осмеливался переступить границ уважения к ней. Столько было скромности, приличия, достоинства в дочери бедного соляного пристава! В это самое время вставала для этих рыцарей новая звезда, которая хотя дав-

но блистала на холоденском горизонте, но не имела ещё поклонников. Это была Прасковья Михайловна Пшеницына[360]. Гостеприимный дом мужа её был открыт для всех, и офицеры хлынули туда вслед за своим генералом Эс-м, молодым, красивым. Оставался только геройски верен знамени Кати Горлицыной один офицер, приятной наружности и с прекрасными душевными качествами. Он влюбился в Катю. Поощряемый своим сердцем и опираясь на преимущества хорошего состояния, он не мог думать, чтобы дочь бедного соляного пристава не склонилась наконец на постоянство его почтительной, бескорыстной любви. В Волгине же, у которого была уж седина в голове, хотя приятном и достойном всякого уважения человеке, не видал опасного соперника. Этого молодого человека звали Селезнёвым.

Катя не поощряла его никакими надеждами, но и не отталкивала резкими выходками и была с ним равно любезна, тем более что отец полюбил Селезнёва от души. Эта партия льстила Горлицыну, потому что он видел в нём достойного, благородного, пылкого иска-

теля руки его дочери, идущего скорым шагом и прямым путём к цели своей. «Вот этак по-нашему!» — говорил он сам с собою. В Волгине же начал несколько сомневаться. Иван Сергеевич казался ему каким-то рыцарем печального образа, под непроницаемой бронёй таинственности, нерешительным, колеблющимся. Всё это не скрылось от глаз Волгина и прибавило новые страдания к тем, которые он терпел от невозможности сделать предложение Кате.

Между тем нужды начинали сильно осаждать Горлицына. С приездом его дочери бюджет его доходов и расходов совершенно изменился. Доходы уменьшились важною статьею — дом уж ничего не приносил. Расходы значительно выросли. Для Кати нужно было держать получше стол; приличие требовало угощать посетителей чаем, закуской. Эти угощения считались необходимыми, чтобы не показаться голыми бедняками и не пристыдить Кати. Посетителей нельзя же не принимать, чтобы Кате не было скучно, да и неловко принимать одного Волгина. Любовь отца рассчитывала также на верного жениш-

ка между ними. Прибавилось два человека прислуги; надо было их одеть и накормить. Хорошо ещё, что Катя на деньги, полученные ею при выпуске из института, составила себе порядочный гардероб. Но мало ли что нужно девице, выезжающей в свет, хотя и холоденский? Разные вещицы для неё, которые у зажиточных людей считаются ничтожными безделками, опустошали также кошелёк Горлицына, и без того скудный. Катя, жившая на всём готовом в институте, не имела понятия о том, что надо издерживать на неё и что мог отец её издерживать. Должность соляного пристава, конечно, очень скромная; отец её небогат, потому что не имеет каменного дома, экипажа, большой прислуги, — это знала она; но не воображала, чтобы он мог нуждаться в необходимом. Настоящую же нужду, бедность, не иначе представляла себе, как в лохмотьях, протягивающую руку для подаяния. Маленькие остатки от собственных её деньжонок почти все, мало-помалу, перешли к таким беднякам. Впрочем, желая ознакомиться с домашним хозяйством (недаром же называли её молодою хозяйкой!) и облегчить

отцу занятия по этой части, она просила поручить ей эти занятия. Но Горлицын, упрямо, под разными предлогами, отказывался посвятить её в тайны домашнего очага. Он хотел оставить дочь в спокойном, счастливом неведении его скудных средств. Зачем её, такую молодую, довольную своею судьбой, знакомить с горькою существенностью? Радости, как певуны и птички, свили себе гнездо в её сердце; спугнёшь их, не скоро загонишь назад. Людям строго наказано было скрывать от Кати всё, что могло её огорчить или потревожить.

Когда она ещё не приезжала из Петербурга, Александр Иваныч не стыдился ходить с своим кулёчком в лавки и на рынок. Что ему были мнения холоденских жителей! Но когда поселилась в доме петербургская, воспитанная девица, на которую обратил внимание богатый сосед, Горлицын стал стыдиться этого кулёчка. Он передал его Филемону. Хозяйство от такого распоряжения не потерпело; напротив того, верный слуга покупал всё дешевле своего барина да ещё умел, за недостатком денег, кредитоваться то у одного, то у другого

торговца. Но и кредит начал мало-помалу колебаться. «Больно горды вы с барином, — говорили Филемону лавочники. — То-то бы ломаться не надо. Что за честь, когда нечего есть!» Такие отзывы очень раздражали старого слугу.

Грозно, настойчиво осаждали враги, называемые нуждами, домик холоденского соляного пристава и с каждым днём все теснее и теснее обступали его.

Даже в присутствии Кати крепко задумывался иногда Горлицын. Забывшись, он что-то бормотал про себя и перебирал пальцами, как будто делал какие-то выкладки.

— Что это вы, папаша, ныне так скучны? — говорила Катя, ласкаясь к отцу. — Всё считаете по пальцам. Уж не беспокоят ли вас какие счёты?

— На службе не без забот, душа моя, — отвечал Горлицын. — Однако ж всё пустяки! Показалось мне, в нескольких кулях[361] соли обчёлся.

— Что бы мне поручить вашу счётную книгу? Ведь я знаю тройное правило, а это правило золотое, пригодно во всех случаях

жизни, говаривал мне учитель. Хотите, я вам сочту, сколько у вас зёрен соли в магазине [362]? Положим, в фунте столько-то зёрен, в пуде[363] столько-то фунтов, в куле — пудов, в магазине — кулей. Проэкзаменуйте-ка меня.

Горлицын засмеялся и сказал:

— Кто ж считает зёрна соли? Ведь это всё равно что сосчитать песчинки на берегу реки.

— Ну так я вам сочту приход и расход ваших денег с моего приезда и выведу остаток. Положим, у вас было такого-то числа 2157 рублей $63 \frac{7}{8}$ копейки...

— Полно ты, моя милая счётчица, — перебил Катю отец, у которого сердце сжалось ещё сильнее, когда она произнесла гигантскую сумму его мнимого богатства. — Верю, что ты арифметику хорошо знаешь, да твоя мне не годится... Вот, как выйдешь замуж...

— Что ж вы меня так скоро гоните от себя?

— Гнать?.. Можно ли, душа моя?.. Ты мне одна отрада на свете. Да ведь когда-нибудь надо. Сыскался бы добрый человек, так я бы сам к вам перебрался.

— А, например, кого бы вы выбрали мне? — спросила лукаво Катя.

— Например, вот Селезнёва.

— Селезнёва?.. — и неудовольствие изобразилось на лице Кати.

— Молодой человек очень достойный. Он мне уж сделал предложение...

— Что ж вы ему сказали?

— Просил подождать. Знаю, сосед был бы больше по сердцу, да... чужак какой-то... Вот уж с лишком три месяца к нам ходит, ухаживает за тобой, и только... серьёзного ничего... Где ж? такой богатый человек, может быть, и знатная родня... а мы живём в хижине, званием невелички... Уж не потешается ли, как игрушкой, от скуки?..

— Потешается?.. Не может быть, неправда! — сказала с одушевлением Катя, но, поняв, что слишком резко отвечала отцу и могла этим оскорбить его, стала к нему ласкаться и примолвила:

— Зачем же, папаша, обижать напрасно доброго, благородного человека?

Катя не могла ничего более сказать, заплакала и упала на грудь отца. Александр Иванович заметил, что любовь пустила слишком глубокие корни в сердце дочери, крепко сму-

тился и проговорил:

— Ну, виноват, душечка; так, к слову сказано... Прости мне. Времени у тебя впереди много. Господу поручаю тебя и твою судьбу. Он лучше нас всё устроит.

Этот разговор оставил, однако ж, тяжёлое впечатление на душе Кати и заставил её придумывать, что бы могло остановить Волгина сделать отцу предложение, Волгина, который, казалось, так её любит. Обманывать её он не может, нет, и сто раз нет!

Когда Катя вышла из комнаты отца, он грустно проводил её глазами, покачал головой, и опять впал в глубокое раздумье, и опять стал перебирать пальцами. «Жалованье взято вперёд за два месяца: статья конченная. Занять у Пшеницыных? Неловко: по службе имеет отношения. За послугу надо быть благодарным. Сколько знает он людей, которые, задолжав усердным кредиторам, делались их ревностными слугами; как часто благодарность вводила в нечистые дела!.. У предводителя? Просить, ох, тяжело!.. Дадут: чем отдать?.. Предводитель же сам не Бог знает какой богач; ждать долго не может. Ещё бо-

лее запутаешься. Заложить серебряные часы, подарок жены на второй день брака? Разве прибавить к ним обручальные кольца?.. Пожалуй, скрепя сердце он послал бы их с Филемоном к какому-нибудь ростовщику. Но что даст за них ростовщик? Безделицу, а возьмёт жидовские проценты. Заложить дом? Но завтра ж он может умереть, и какое наследство оставит дочери?..»

Приближался час, когда Горлицын мог отчаянно сказать — не знаменитое, хотя пригодное на этот случай, изречение Франциска I после поражения под Павией: всё потеряно, кроме чести![364] — нет, роковые слова чиновника-бедняка, у которого есть дочь, нежно любимая, — слова, много значащие, хотя и очень простые: осьмушку чаю, фунт сахару на завтрашний день! Год жизни за осьмушку чаю, за фунт сахару![365]

Правда, были ещё у Горлицына два средства отдалить этот роковой час и взять передышку от бремени нужд, которые на него налегали. Первое средство предложил ему усердный Филемон в одно из совещаний, на которые они сошлись тайно от всех; другое

само собою представилось Александру Иванычу в минуты отчаянного его положения.

Филемону передал по секрету старый инвалид, приставленный к соляному магазину [366], что в этом магазине есть несколько десятков лишних кулей, накопившихся с годами, от того, что у Александра Иваныча не было или было очень мало утечки и усышки [367], положенных даже законом. Неровен час, приедет ревизор, да ещё взыщет за лишнюю соль; пойдут допросы, откуда взялась. Что скажешь? Как отделаешься от этих зубастых допросов? Для безопасности должно, без греха можно её продать. Инвалид и старый слуга берутся это сделать, так что никто не узнает. А денежки можно выручить хорошие.

— Продать, из казённого места, казённое добро в свою пользу? Посягнуть на воровство первый раз в жизни? Сделать дольщиками этого воровства слугу и сторожа? Да как ты осмелился мне это предложить, сударь ты мой? Да я тебя упеку и с твоим инвалидом куда ворон костей не заносит! Что мне ревизор? Соль налицо; не бесчестно, не с корыстными умыслами копил!.. Я сам донесу по началь-

ству, и делу конец.

Такой резкой исповедью Александр Иваныч осыпал Филемона, словно картечью[368]; но слуга не струсил. Раздосадованный, что его золотой совет, так хитро и с таким усердием придуманный, не удался, он нагрубил первый раз в жизни своему барину и покончил тем, что предсказывал ему суму да и несчастной дочке такую же участь. Горлицын в сердцах вытолкнул его из двери. После такой неудачи и оскорбления старый слуга впервые в жизни запил, и так запил, что не мог идти на рынок. Эту обязанность исполнила Бавкида, не преминув сначала поколотить порядком своего супруга. Новый удар принял бедный Горлицын в сердце, будто истинное наказание Божье.

Другое средство избавиться от всех этих мирских треволнений было прибегнуть к секретной шкатулке, в которой хранилась экономическая сумма, накопленная во столько лет к приезду дочери. В шкатулке уже близ ста рублей. Но деньги эти назначены Кате; они сделались её добром, её собственностью. Что ж? он займёт не у чужого, у дочери. Придут

более счастливые дни, и деньги возвратятся на своё место. Решено: секретная шкатулка — единственный источник, из которого можно почерпнуть без укора совести. Не то завтра у Кати не будет чаю, завтра... мало ли чего не будет!

В раздумье ходил Александр Иваныч несколько времени по своей комнате взад и вперёд тяжёлыми шагами, которые отдавались в потолок Катиной спальни. Вещее чувство сказало ей, что отец её чем-нибудь необыкновенно озабочен. Грустный, пасмурный вид, которого она прежде в нём не замечала, какая-то скрытность в поступках, тяжёлые шаги, никогда так сильно не раздававшиеся над её головой, — всё это встревожило её, и она решилась идти к отцу наверх.

В это время Александр Иваныч, достав заветный ящик, бледный, дрожащими руками отпер его, будто собирался украсть чужие деньги. Только что успел он взглянуть на своё сокровище, как дверь тихо отворилась. В страхе он опустил руки, затрясся, хотел что-то сказать, но не мог выговорить слова. Жалкий, умилённый вид имел он, будто застигнутый

воришка. Шкатулка была наполнена почти доверху крупной и мелкою серебряною монетой. В первые минуты Катя не могла приписать смущение отца ничему другому, как испугу, что застала его над деньгами, которые он старался скрыть от неё... Она всплеснула руками и примолвила:

— О-го-го! Папаша, сколько у вас денег!..

— Немного, Катя, немного, и ста рублей нет, — едва мог выговорить Александр Иванович. — Для тебя было копил... да понадобились... крайняя нужда... Хотел у тебя в долг взять... прости мне.

И в глазах его заблестали слёзы.

В этих словах, в слезах этих, было столько горькой истины, вылившейся из глубины души, что Катя сейчас поняла свою ошибку. Она схватила руку отца, нежно, крепко поцеловала её и сказала:

— О! какой вы добрый!.. А всё-таки грех вам сомневаться во мне да ещё просить у меня прощения. Разве всё моё не ваше, всё ваше не моё?.. Ещё бы нам делиться!.. Ведь только нас двое и есть в семье... Давайте, сочтём, сколько тут денег. Ещё есть у меня петербург-

ских рублей десятков с лишком, положим вместе.

И ещё раз поцеловав руку отца, подала ему стул, потом важно присела к столу, на котором стояла шкатулка, высыпала из неё деньги и начала раскладывать их кучками, пятак к пятак, гривенники к гривенникам и так далее. Тут же приговаривала: «Вот я вас за это накажу, погодите!..» От сердца Александра Иваныча отлегло; он улыбнулся прежнею своею детскою, прекрасною улыбкой и стал помогать дочери укладывать деньги. Сосчитав деньги, которых действительно оказалось близ ста рублей, она сыскала клочок бумаги, взяла перо и стала писать и произносить вслух написанное, припоминая себе форму заёмного письма, которое видела в Петербурге у матери своей подруги:

— Я, нижеименованный отец такой-то дочери, занял у единородной своей Кати 103 рубли 65 копеек — понимаете, тут будут и петербургские деньги — на бессрочное время; буде чего не заплачу, то вольна она, вышереченная Катя, требовать от меня сверх законных поцелуев, выдаваемых ей каждый день,

столько, сколько она пожелает. Теперь подписывайте.

И Александр Иваныч, усмехаясь, взял перо и подписал рукою, ещё нетвердою, своё имя и фамилию.

— А теперь, — сказала она, целуя его, — проценты вперёд. Вот вам, вот вам... ведь я ростовщик!

Оживили Горлицына эти слова и ласки, и он, собирая деньги опять в шкатулку, сказал:

— Ведь я не шутя возьму у тебя деньги; они мне нужны.

— Сказано — сделано, вот рука моя, а вот и ваше заёмное письмо, — отвечала Катя, скорчив серьёзную мину, ударила отца в ладонь его, молодецки пожала её и, свернув клочок бумаги, спрятала у себя на груди.

Так пасмурно начался и так отраднo кончился этот день. Счастливый Александр Иваныч повеселел. По старой привычке он велел позвать к себе Филемона, да тот оказался опять в несостоятельном положении. Опять поручили Бавкиде сделать покупки, и на этот раз более важные. И вслед за тем довольство полилось в доме. Катя, узнав, что старый слу-

га болен, очень этим встревожилась, состряпала ему бузинного отвара в чайнике и сама пошла к одру больного, чтобы дать ему это лекарство. Филемон был в жару, мутные его глаза едва узнали барышню, к которой потянулся было целовать руку... Катя думала, что старик в самом деле болен, с жалостью на него посмотрела и велела своей горничной давать ему бузины да почаще ей сказывать, будет ли ему легче или хуже, неравно придётся послать за лекарем. Такое внимание доброй барышни к недостойному очень озадачило его и пробудило в нём совесть. На другой же день явился он к Катерине Александровне, когда барина не было дома, и повалился ей в ноги.

— Матушка, барышня, простите мне, — говорил он ей, — я вас обманул, болен не был. Бес лукавый попутал: хмельным зашибся. Отродясь не бывало со мною этакой оказии. Божусь вам, в первый и последний раз... Тятенька ведь всему причиной... больно уж совестлив.

Этими словами подана была нить в руки Катерины Александровны, и клубок стал раз-

матываться. Тут Филемон рассказал причину своего нравственного падения и кстати уже развернул свиток истории всех нужд, которые одолевали Александра Ивановича едва ли не со смерти Катинной матери, как он терпел их, не смея царскою копеечкой поживиться, да как отказывал себе во всём, и прочее, и прочее, что мы уж прежде рассказывали.

Чего не открыла Кате эта простая, но страшная для неё повесть! Каким новым светом озарилась душа её! Теперь только узнала она всю силу любви к ней отца. Всё её прошедшее было только сновидение, мечты, коварно ласкавшие её. Она походила на дитя, которое тешится огоньками, бегающими по стене около его колыбели, не зная, что через час весь дом от них разрушится. Сколько опыта приобрела Катя в несколько минут! В каком горниле закалилась душа! Да, несколько минут тому назад, она была девочка; теперь стала женщиной, твердою, сильною, готовою вступить в борьбу с невзгодами жизни. За самоотверженную любовь надо заплатить такою же любовью, за великие жертвы — ещё

высшими, если можно.

Катя поблагодарила старого слугу за всё, что он ей открыл, обещаясь никому не говорить о том, что слышала от него, наказывала не огорчать более отца неуместными советами и дурным поведением. Отпустив его, она отправилась в свою спальню, усердно со слезами молилась образу Спасителя, которым отец благословил её, когда она поступила в институт; долго стояла на коленях перед портретом матери... Плакала она горько эту ночь, плакала и другие ночи, но с каждым утром, умывшись, была на вид весела и необыкновенно нежна с отцом. Целую неделю каждый день ходила в соборную церковь, которая была в нескольких шагах от их дома [369], и там усердно молилась. Молитвы её были об одном и том же: подать ей свыше силы принести долгу свою жертву. Волгин, в продолжение этой недели, приходил раз три, был по-прежнему грустен и по-прежнему особенно внимателен к Александру Иванычу. В каждом взгляде его, в каждом слове, обращённом к Кате, не могла она не заметить выражений прежней любви. Сколько раз, заме-

чая, что отец сделался к нему холоднее, а дочь была особенно грустна, решался он объяснить своё положение, но молчал, боясь безвременною откровенностью разрушить своё счастье тогда, когда ожидал со дня на день окончания дела о разводе.

Неделя прошла, и Катя в первый за тем день объявила отцу, что идёт за Селезнёва. «Он добрый, достойный человек, — говорила она отцу, — я хочу, я буду его любить... Только прошу у вас три дня сроку... Только три дня, — повторила она с твердостью, — а там, не спрашивая меня, скажите ему, что я согласна».

Как ни желал Горлицын этого решения, он теперь испугался его. Согласие было дано так неожиданно, без всяких приготовлений. «Я не неволю тебя, душа моя, — говорил он Кате, — тебе ведь жить с мужем, так выбирай себе по сердцу». Но Катя осталась на своём. Александр Иванович пристально посмотрел на неё и сказал с необыкновенною твердостью: «Подждём!..» Потом задумал он думу крепкую. Не получила ли уж она письма от Волгина, которое заставило её принять такое скорое

решение? Не может быть. Если б он осмелился к ней написать, Катя не скрыла бы письма от отца. Не мог же рассудок в несколько дней победить склонность, которая так сильно выказалась в последнем разговоре с дочерью, склонность, которая так быстро развилась и долго росла, поощряемая самим одобрением отца! Волгин жил в Холодне без дела; не слышать было, чтоб он собирался куда, несмотря на то, что хозяйственные дела требовали его в новое имение. Катя ходила каждый день в церковь, чего прежде не делала. У ней были на днях глаза красны; сказано, что это от ветру... Нет, это не то, совсем не то!.. Тут что-нибудь необыкновенное скрывается. Как бы узнать?

Передумал всё это Александр Иваныч и решился идти к Волгину отплатить, может быть, последним визитом за десятки, которые был ему должен, между тем намекнуть о предложении Селезнёва и испытать, какое действие произведёт оно на соседа. Надо было развязать судьбу Кати, а другого способа, как этот, не мог отыскать Александр Иваныч по простоте души своей.

Волгин был очень рад посещению гостя. Никогда сосед не видал его в таком приятном расположении духа; оно выразалось на лице его, во всех его словах.

— Вы, как нарочно, посетили меня, — говорил он Горлицыну, — когда я только что получил из Петербурга радостное известие. На днях ожидаю другого, решительного; оно развяжет мою судьбу, от него зависит вся моя будущность.

В чём же состояло это извещение, Волгин не сказал, и сосед почёл неприличным спрашивать. Загадка для Александра Иваныча всё-таки осталась загадкой. Он решился приступить к более сильным мерам и, как делают удачно некоторые хитрецы, простодушною откровенностью вызвать на такую же.

— И у меня в доме, сударь вы мой, — сказал он, — готовится нечто приятное.

— А что такое? — спросил нетерпеливо Волгин.

— От вас не скрою: я вас уважаю как друга. Вот видите, прекрасный, молодой человек Селезнёв... достойный во всех отношениях... вы его знаете... удостоил чести просить руки до-

чери моей...

Волгин побледнел как мертвец.

— Что ж Катерина Александровна? — спросил он задыхаясь.

— Сначала Катя не хотела и слышать. Да она у меня разумная такая... Романические бредни ещё с удовольствием прочтёшь в книге, а в жизни куда как не годятся!.. Всё дым, сударь мой!.. Господь посылает ей счастье, грех пренебрегать... Просила только три дня сроку...

Волгин вскочил с дивана, схватил руку Александра Иваныча и, крепко сжимая её, сказал:

— Нет, этому не быть!.. Скажите, что этому не быть... Не убейте меня... Простите, что я так смело говорю... Воля родительская; но я люблю её так сильно, так глубоко, что готов за неё с целым миром поспорить. Я полюбил её с первого раза, как увидел; сам Господь указал мне на неё... Моё счастье, жизнь моя в надежде получить её руку. Ради Бога, не отнимайте у меня этой надежды.

— Позвольте, для чего ж вы до сих пор не объяснились?..

— Винюсь перед вами, я сделал в жизни своей только одно худое дело — скрыл от вас одно обстоятельство, и то из боязни потерять доброе расположение Катерины Александровны. Но ныне же... на словах не могу... открою вам всё. Ныне вечером вы получите от меня письмо. Прочтите его сначала одни, потом, если позволите, пусть прочтёт ваша дочь, и тогда решите мою участь.

— Вы знаете, — отвечал тронутый Горлицын, — сколько я люблю и уважаю вас. И я за честь, за счастье почёл бы иметь вас своим зятем. Но... посудите сами... такие частые посещения, так долго... голова молодой девушки могла закружиться; далеко ли до сердца?... злые языки в городе...

— Вините судьбу мою, обстоятельства!.. Намерения мои были всегда чисты; заслужить руку вашей дочери, но заслужить её честно, благородно, было одним побуждением моим во всех моих действиях с того времени, как её знаю. Ради Бога, не осуждайте меня...

— Буду ждать вашего письма, — сказал Горлицын, крепко обнял своего соседа и про-

стился с ним. Возвратившись домой, обременённый радостным предчувствием и страхом неизвестности, он сказал Филемону, сидевшему уже в передней в здоровом положении, так что могла слышать Катя из другой комнаты:

— Если придёт ныне Селезнёв, сказать, что нас дома нет. Слышал ты, ричард мой возлюбленный?

— Слышал, батюшка Александр Иваныч, — отвечал дрожащим от радости голосом Филемон, ободрённый шуточным приветствием, которое всегда так приятно щекотало его сердце и которого он более недели не слышал от своего господина.

Вошедши же в комнату дочери, Горлицын прибавил с весёлым видом:

— Мы подождём, Катя, да, подождём!.. Утро вечера мудренее, говорит пословица, а у нас вечер будет мудрее утра. Не знаю ничего, а знаю только, что сосед наш человек благородный, хоть и тёмный. Не спрашивай меня ни о чём и будь повеселей.

И Катя, смущённая этими загадочными словами, не спрашивала ни о чём. Можно во-

образить, что происходило в душе её. Она видела, как отец ходил к соседу, заметила, что он возвратился домой веселей, нежели вышел из дому, ничего не понимала из путаницы слов, сказанных ей отцом, но слово «подождем» было для неё так странно. Она посмотрела на портрет матери и подумала, покачивая головой: «Не ты ли упростила там за меня Господа?..» Довольно было для неё уж и того, что откладывалось исполнение ужасного приговора, на который она себя осудила.

Перед вечером Горлицын получил от соседа огромный пакет и заперся у себя на ключ, чтобы никто не мешал ему прочесть, что в нём заключалось. В этом пакете было письмо на его имя, тетрадь с заглавием «Моя история», несколько документов и писем на имя Ивана Сергеевича от дяди его.

Письмо, адресованное к Горлицыну, было следующего содержания:

«Милостивый государь,
Александр Иванович!

Посылаю вам историю моей жизни со времени приезда в губернский город N, вместе с приложениями, которые удостоверят вас в

истине моего рассказа. Бог свидетель, что я не старался в нём представить себя в лучшем виде, нежели каков я был, и обременить лишними нареканиями женщину, и без того слишком наказанную. Да простит ей Судия Всевышний, как я простил её на этой земле!

Желал бы я скрыть от всех в глубине растерзанного сердца эту ужасную историю; но долг мой, после того, как я признался вам в чувствах своих к Катерине Александровне, обязывает меня быть с вами откровенным, как с отцом моим. Прочтите всё и осудите меня, если у вас достанет сил осуждать несчастье, а не преступление.

Жизнь моя без пятна, совесть чиста. В одном могу только обвинять себя — в том, что я не открыл вам прежде моих обстоятельств; но и за этот невольный проступок ожидаю себе великодушного прощения: любовь и тут была причиной обмана, без которого я закрыл бы себе, может быть, навсегда доступ к сердцу вашей дочери.

Любовь моя к Катерине Александровне так сильна, что нет жертвы, которую бы я не принёс ей, кроме самой любви. Я буду ждать ва-

шего ответа целые сутки. Если не получу его в этот срок, приговор мой будет мне известен. Удар этот, конечно, придёт моему сердцу тяжелей всех, какие я доселе испытал. Тогда останется мне уехать из здешних мест в дальнюю мою деревню, может быть, в чужие края, пожелав Катерине Александровне всего счастья, которого она так достойна, а вам наслаждаться зрелищем этого счастья. Об одном попрошу вас только: вспоминать иногда несчастливца, которому судьба, без вины его, назначила испить до последних дней его горькую чашу страданий. Мне же останется навсегда хоть утешением воспоминание о тех прекрасных днях, единственных в жизни моей, которые я провёл в вашем семействе».

Читая это послание и все приложения к нему, Горлицын несколько раз прекращал своё чтение, чтобы дать себе отдохнуть от бремени тех чувств, которые оно возбуждало в душе его; несколько раз слёзы мутили его глаза и заставляли отрываться от печальных строк. Пришедши к дочери, он подал ей письма и бумаги, полученные от Волгина, кроме копий с разных определений присутствен-

ных мест, и сказал ей: «Ты не дитя, вооружись твердостью, прочти всё и скажи мне потом, что должно написать соседу. А я покуда пройду немного, подышу свежим воздухом... Мочи нет, мне тяжело!»

Когда он возвратился, Катя с заплаканными глазами сидела у стола и писала что-то на почтовом листочке; написавши, отдала его отцу и прибавила: «Прочтите эту записку и пошлите её к Волгину. Знаю наперёд, что вы на неё согласны, потому что вам дорого счастье вашей дочери».

Александр Иваныч прочел следующее:

«Отец мой предоставил мне отдать руку мою тому, кого выберет моё сердце. Полюбила я вас сначала — может быть, и романически: мудрено ль? Тогда я только что сошла с институтской скамьи. Потом, с опытом жизни, рассудок и сердце уверили меня, что я ни с кем не могу быть счастлива, как с вами. Теперь ни в чём вас не обвиняю. Уважаю вас ещё более, прочтя ваши бумаги. Видно, Господь назначил мне утешить вас, сколько могу, за всё ваше прошедшее — я исполню свято этот долг. Приходите к нам сейчас.

Ваша навеки

Катерина Горлицына».

Ничего не сказал отец, прочтя записку, поцеловал дочь, благословил её и, запечатав послание, отослал с Филемоном к соседу. Верный ричард дожидался ответа. Радостный, как безумный, выбежал к нему Волгин, поцеловал его в лоб, всунул ему в руку пучок ассигнаций, сказал: «Иду!» — но, видя, что тот, ошеломлённый от таких невиданных щедрот, стоял всё на одном месте, почти вытолкнул его из двери. Через несколько минут Иван Сергеевич был у ног Кати... Детская улыбка мелькала на губах Александра Иваныча, и радостные слезы катились из его глаз.

Прошло несколько дней нетерпеливого и тревожного ожидания известия из Петербурга. Оно пришло. Вот что писал Ивану Сергеевичу дядя его:

«Твоё дело окончательно решено. Но Бог решил его, за несколько дней до того, по-своему. Пятого ноября отошла твоя жена в вечную жизнь. Перед смертью пришла в рассудок, узнала, где находится, потребовала к себе священника, исполнила все христианские обя-

занности, со слезами просила прощения, особенно у тебя, у всех, кого когда-либо обидела, пожелала тебе счастья (это были её последние слова) и скончалась тихо, на руках людей, совершенно ей чужих. Пускай будет её жизнь примером для многих! Подай ей, Господи, в селениях небесных мир, которым она здесь не наслаждалась!.. Посылаю тебе законное свидетельство о её смерти».

Когда Волгин передал Катерине Александровне и отцу её это известие и намерение своё отслужить панихиду по усопшей, невеста его вызвалась участвовать в исполнении этого священного и трогательного обряда.

Впоследствии времени она этой обязанности не пропускала ни одного года до конца дней своих.

Помолвка и обручение были через несколько дней и изумили весь город. Семейство предводителя, Пшеницыны и многие другие от души радовались этому событию. Сыскались, однако ж, люди, которые заметили, что дочери бедного соляного пристава выпало такое высокое счастье не по рангу. Селезнёв с отчаяния спешил уехать в отпуск.

В это время Катерина Александровна получила при своём женихе письмо — от кого бы вы думали? — от майорской дочери Чечёткиной.

— Что бы она могла ко мне писать? — сказала Горлицына, взглянув на подпись, — уж не из-за вас ли хочет начать со мною процесс?

Майорская дочка, расточив сначала изъяснения своего уважения и сожаления к Катерине Александровне, принялась потом чествовать Волгина самыми лестными для него эпитетами. И злодей-то он, и безнравственный человек, и свёл-то с ума жену, образец всех женщин, которую держит в своей деревне, едва ли не на цепи. Вместе с этим Чечёткина предлагала начать с ним процесс, для такой okazji рекомендовала отличного ходока-поверенного, который заставит вероломного обманщика, посягающего на честь и благополучие такой прекрасной девицы, какова Катерина Александровна, заплатить ей важную сумму.

Как узнала о семейных делах Волгина охотница до процессов, никто из читавших её

письмо не старался исследовать. Довольно, что посмеялись над этим посланием, которое, однако ж, если б получено было несколько прежде, могло бы встревожить Горлицына и его дочь.

Когда невеста собиралась к венцу, Ване поручили надеть на её ножку башмачок. Говорят, что плутишка при этом случае не преминул поцеловать её ножку[370] и заставил Катю очень покраснеть. После свадьбы Горлицын вышел в отставку, предоставив лишние кули соли распоряжению своего преемника, и переехал к дочери в новую деревню её мужа[371], где был и прекрасный дом, и прекрасный сад, и протекала та же М-а-река, омывавшая берег, на котором стоял домик соляного пристава в Холодне. До глубокой старости наслаждался он счастьем видеть согласие и любовь обоих супругов. И мне раз, в юности моей, удалось провести несколько дней в этой благословенной семье и видеть, как два маленькие внука и крошка-внучка барахтались с дедушкой на лугу. Та же детская, прекрасная улыбка, одушевлявшая лицо старика[372], не оставляла его до тех пор, по-

ка не закрыла его последняя, брошенная на него, горсть земли.

В виду того места, где Катя и Волгин в первый раз познакомились близ переправы через Москву-реку, у подножия Мячковского кургана, поставили они скромный памятник. Не знаю, существует ли он теперь.

Комментарии

В «Семейной хронике» Аксакова упомянуто, что переписка Новикова с Софьей Николаевной имела большое влияние на её образование[373]. Мудрено ли, что молодой Пшеницын, живя ближе к Москве, имел случай столкнуться с этим замечательным человеком, который своими беседами внушил ему любовь к просвещению? Нашлась бы, конечно, не одна сотня подобных фактов, если бы их вовремя собирать. Мы увидели бы тогда, как он обильно сеял Божие семя на русскую ниву. Почему в подлинном рассказе Ивана Максимовича Пшеницына назван Новиков *каким-то господином*[374], мне неизвестно.

[^^^]

2

Так звали империалы времён Елизаветы и Екатерины, которых грудные изображения чеканились на монетах с правой и с левой стороны, как бы одно против другого.

[^^^]

3

Сам внук князя К-аго, молодой человек, очень образованный, подтвердил мне всё это в 1836 году[375].

[^^^]

4

Такие *войлочки* были в употреблении у московских извозчиков, если не ошибаюсь, до 12 года. Их заменили *калиберные* дрожки.

[^^^]

5

В десятых годах знавал я одну русскую графиню, которая так худо по-русски говорила, что даже и другие аристократки над нею смеялись.

[^^^]

Примечания

Текст повести печатается по прижизненному изданию: Лажечников И. И. Беленькие, чёрненькие и серенькие // Собрание сочинений: В 8 т. СПб., 1858. Т. 7. С. 1 — 262. Кроме того, была учтена первая публикация повести: Лажечников И. И. Беленькие, чёрненькие и серенькие // Русский вестник. 1856. Май. Кн. 1. С. 5 — 38. Июнь. Кн. 1. С. 458 — 493, кн. 2. С. 601 — 653. Июль. Кн. 1. С. 53 — 84. Сопоставление первой журнальной публикации повести и текста, вошедшего в собрание сочинений, позволяет предположить, что Лажечников сам редактировал произведение. Изменения коснулись некоторых автобиографических подробностей, стиля повести и орфографии. Существенные различия в текстах обоих изданий отмечены в комментариях. Текст печатается в современной орфографии и пунктуации с сохранением некоторых авторских особенностей.

Комментарии объясняют исторические, бытовые, языковые реалии, малопонятные для современного читателя. Кроме того, рас-

крываются автобиографические и краеведческие мотивы. Очевидная перекличка многих подробностей повествования с историей семьи Лажечниковых (Ложечниковых) и бытом Коломны XVIII — XIX вв. позволяет не оговаривать это обстоятельство в каждом конкретном случае.

[^^^]

Иван Максимович Пшеницын. — За фамилией «Пшеницын» скрылся сам Лажечников. Характерная низовая фамилия (как и Лóжечниковы — фамилия предков писателя) намекает на то, что Лóжечниковы были известные торговцы хлебом.

Временник — хронограф, летопись, описание минувших событий.

Душеприказчик — исполнитель последней воли покойного по его собственному распоряжению или по назначению правительства.

[^^^]

Все тетради составлены из разных лоскутков, беспорядочно сшитых. — В тексте повести, опубликованном в журнале «Русский вестник», далее следовало: «и написаны весьма неразборчивою рукой. Покойнику не раз доставалось от получавших его письма». Деталь явно автобиографическая, поскольку сам Лажечников обладал неразборчивым почерком.

[^^^]

Дела давно минувших лет! — Неточная цитата из Песни первой поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Двустипшие «Дела давно минувших дней, / Преданья старины глубокой» является, в свою очередь, переводом начальной фразы поэмы Оссиана «Картон».

[^^^]

Иван Максимович Пшеницын родился в уездном городке Холодне. — Под именем «Холодня» выступает уездная Коломна. Уезды и губернии в XVIII—XIX вв. соотносились как современные районы и области.

[^^^]

... на Запрудье. — Один из вариантов названия (ср.: Запруды) Запрудной слободы (в писцовых книгах XVI в. эти места обозначаются как располагающиеся «за прудом»). О местоположении старого дома Лажечниковых см. стр. 9 настоящего издания.

[^^^]

Когда мальчик впоследствии перешёл на новое жилище... — Семья Ивана Ильича Лажечникова, отца писателя, переехала в новый дом на Большой Московской (Астраханской) улице, ныне Октябрьской революции, 192а — 194. В описи 1794 г., когда Ване Лажечникову было четыре года, этот дом уже фигурирует. Не исключено, впрочем, что семья перебралась в новый дом несколько позднее.

[^^^]

... на несколько десятков сажень, ямы и рытвины, из которых, вероятно, много лет добывалась глина. Сажень — старинная русская мера длины, равная трём аршинам (2,13 м). Возможно, здесь когда-то брали глину для строительства каменного кремля или для гончарного производства.

... какой чудный вид из двух калиток, обращённых на запад и полдень! — На запад и полдень (то есть юг) от дома за Московской дорогой город заканчивался.

На возвышении кругом в два ряда высятся к небу столетние липы... — На планах конца XVIII века юго-западнее кожевенного завода, возле которого стоял дом Лажечниковых, указан то большой пруд на реке Чуре (ныне не существующей, в её русле теперь течёт река Коломенка), то, на других планах на том же месте, лесной участок. Здесь располагалась тогда архиерейская дача. Липы, очевидно, выросли ещё вокруг пруда.

Дергач — коростель.

[^^^]

Дядька — слуга, приставленный для ухода или надзора за ребёнком. О значимости сей должности говорят пословицы, приводимые в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля: «У кого есть дядька, у того цело дитятко», «Каковы где дядьки, таковы и дитятки». Самый знаменитый литературный дядька — Савельич в повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

[^^^]

Засвистала дудочка тихо... — Манок, напоминающий своим звуком пение какой-либо птицы. Непременный атрибут птичьей ловли.

[^^^]

Подле полуденной садовой калитки... — Полуденная — южная.

[^^^]

... к реке Холодянке. — Холодянка — «псевдоним» Коломенки в повести.

... в реку, которая издали будто манит её к себе. — Имеется в виду Москва-река, которая в повести скрывается за криптонимом М-а. Место слияния двух рек хорошо было видно от старого дома Лажечниковых.

[^^^]

... край своей голубой фэрязи. Фэрязь — старинная верхняя одежда (мужская и женская) с длинными, до земли, рукавами, без воротника и перехвата в талии.

[^^^]

... загородила дорогу колдунья-мельница... — Мельница располагалась на Коломенке (в старом её русле) чуть ниже Косых ворот, то есть под современной лестницей, идущей от «Блюдечка» к Конькобежному центру «Коломна». Мельница упоминается ещё в писцовой книге 1577 — 1578 гг. В конце XVIII в. мельница, «мучная и пильная», принадлежала купцу Мещанинову. Есть изображение её (или, скорее, её «наследницы») на открытках начала XX в.

[^^^]

... ожидающей её неподалёку О-е. — имеется в виду Ока.

[^^^]

Влево, между мельницей и кожевенным заводом, стоящим в Запрудье, виден вдали Ба-ев монастырь. — Богородице-Рождественский Бобренов (Бабренев) монастырь. Кожевенный завод входил в усадьбу Лажечниковых и был построен ещё дедом писателя (числится по описи 1783 г.).

[^^^]

... а добрый старец-архимандрит, благословляя его и давая ему свою ручку поцеловать, всегда жалует его просвирой. — Настоятелем Бобренева, тогда объединённого Бобренева-Голутвина монастыря, с 1800 г. был о. Самуил (1760 — 1829), прославившийся деятельной верой и особым даром благоволения к людям. *Просви́ра* (просфо́ра) — в православном богослужении маленький круглый белый хлебец, употребляемый во время литургии.

[^^^]

Вправо, против мельницы, на отвесной вышине, одиноко стоит полуразвалившаяся башня ... — Косые ворота кремля, ныне не сохранившиеся. Их место — в начале спуска от нынешнего «Блюдечка». На рисунке 1800 г. Косые ворота ещё воспроизведены как целые.

[^^^]

... как *старый, изувеченный инвалид*. — В этом словосочетании нет тавтологии: в XVIII — XIX вв. слово «инвалид» означало *воина со стажем, ветерана*.

[^^^]

В нескольких сажнях от неё начинается гряда камней... замыкается высокою угловою башнею. — Остатки кремлёвской стены, шедшие от Косых ворот до Маринкиной башни.

[^^^]

Широкая стена, которая ... более уцелела... —
То есть сохранившаяся и отреставрированная
теперь стена между Маринкиной и Гранови-
той башнями.

[^^^]

... панораму города с золотою главой старинного собора и многими церквами... — Имеется в виду Успенский собор, выстроенный в 1672 — 1682 гг. на месте храма времён Дмитрия Донского. Центральная из пяти глав соборной церкви и ныне золочёная. Многие церкви, группирующиеся около Успенского собора, — Тихвинская (капитально перестроенная в 1861 г., так что Лажечников видел церковь в классицистском стиле, а мы — в ложнорусском), Воскресенская (Лажечников видел и не сохранившуюся ныне колокольню), Троицкая и Покровская в Ново-Голутвинском монастыре, Успенская в Брусенском монастыре, церковь Михаила Архангела в Михайловской слободе (храм был перестроен в 1828 — 1833 гг.). Вероятно, видна была и старая колокольня Иоанна Богослова (сейчас на её месте колокольня, возведённая в 1846 г.).

[^^^]

... стелются по берегу Холодянки густые сады . — Сады, идущие от домов по улице Успенской (ныне Лазарева) вниз к Коломенке. Один из таких садов описан в тетради III «Соляной пристав и его дочь». В те времена Коломна считалась главным поставщиком яблок в Москву.

[^^^]

... на крест Господень, сияющий высоко над домами... — На колокольне Успенского собора (тогда самой высокой точке города).

[^^^]

Песту́н — воспитатель.

[^^^]

«Но умысел другой тут был». — Цитата из басни И. А. Крылова «Музыканты»: «Сосед соседа звал откушать; / Но умысел другой тут был: / Хозяин музыку любил / И заманил к себе соседа певчих слушать».

[^^^]

*... он в доме исполнял должности... приказчи-
ка...* — В данном случае это наёмный человек
у купца, выполняющий поручения торгового
характера.

[^^^]

... *высвистывал колена на разный лад.* — В пении, музыкальном произведении колена — отдельное, выделяющееся чем-нибудь место, часть.

[^^^]

... дядька не употреблял во зло доверия своих господ ... потому что был приписан к заводу, принадлежащему Пшеницыным. — Судя по всему, Ларивон, как и другие слуги, был по отношению к хозяевам в положении вольнонаёмного. Иметь крепостных было исключительной привилегией дворянства. Купец Иван Максимович Пшеницын, очевидно, имел звание именитого гражданина (как и его прототип, отец писателя), что позволяло ему заводить фабрики и заводы, используя вольнонаёмных рабочих. В 1800 г. для купечества было установлено звание коммерции советника, дававшее права потомственного дворянства. Отец писателя быстро получил это звание и сопутствующие ему права, о чём свидетельствует документ, хранящийся в Российском государственном историческом архиве г. Москвы (Ф. 105. Оп. 3. № 1083) и датированный 26 ноября 1803 г. — 4 января 1804 г., «О получении от коммерции советника Ложечникова И. и купца Насонова Д. сведений о числе купленных крестьян для их заводов и

фабрик». Поскольку описываемые события относятся ещё к последним годам XVIII века, Ларивон и другие слуги всё же не крепостные, чем, кстати, объясняется их довольно независимое поведение (см. эпизод с кучером Кузьмой). В документе более раннем — описании шёлковой фабрики Ивана Ильича Ложечникова 1800 г. (Российский государственный военно-исторический архив. Ф. 846, Оп. 16. Д. 18861. Ч. 10. Л. 13 об.), отражающем как раз ситуацию на последние годы XVIII века, сказано, что при фабрике состоит 41 человек рабочих, «кои все волнонаемные», из купеческого и мещанского сословия и из «поповщины».

[^^^]

Воспитанник не видал ... розги. Розга — срезанная тонкая ветка, прут как орудие телесного наказания.

[^^^]

... этого и бурлак не сделает... Бурлак — наёмный рабочий в России XVI — конца XIX веков. Бурлаки, идя по берегу, тянули при помощи бечевы речное судно против течения.

[^^^]

... мигом слетал с козел... Кóзлы — сиденье для кучера в передке экипажа, повозки.

[^^^]

... и как *новый Атлас*... Атлас — в греческой мифологии титан, который за участие в битве против богов-олимпийцев был приговорён вечно держать на своих плечах небесный свод. Символ выносливости и терпения.

[^^^]

ключи от всех кладовых и амбаров... Амбар — строение для хранения зерна, муки, припасов, а также товаров.

[^^^]

Акулина превосходно готовила кулебяки, всякие похлёбки, холодные и жаркие, квасы, мёды. Кулебяка — пирог с начинкой, традиционное русское блюдо. Похлёбки холодные и жаркие (горячие) — разновидность супа, представляющая собой лёгкий овощной отвар, например, картофельная похлёбка, капустная похлёбка, щавелевая похлёбка. Приготовление требовало особого поварского искусства. Мёды — хмельные напитки, основой которых был мёд.

[^^^]

... на старой сивой лошади. Сивая — масть лошади, серовато-сизый цвет.

[^^^]

... подле Божьего милосердия нюхал проклятое зелье. Божье милосердие — образа, иконы.

[^^^]

... в четверугольной линейке с порыжелыми кожаными фартуками. Линейка — широкие, многоместные дрожки, в старину с фартуками, а иногда с занавесями, как кровать.

[^^^]

... против красных рядов, на самом бойком месте в городе. Красными назывались ряды, где торговали красным, или аршинным, товаром — различными материями на платье. «Самыми бойкими» в Коломне были Житная площадь (ныне Двух революций) и Бабий рынок вдоль Владимирской улицы (ныне Зайцева).

[^^^]

... достаёт тавлинку... Тавлiнка (таблiнка) — плоская берестяная табакерка с ремешком во вставной крышке.

[^^^]

... вместе с кусками перламутрового веера и играющими на нём амурами. — Складной веер был обязательным атрибутом женского туалета в дворянском обществе. Перчатки, веер из дорогого материала перламутра с характерным рисунком (Амур, согласно римской мифологии, крылатый мальчик, неременный спутник богини любви и красоты Венеры) — приметы ориентации купцов Пшеницыных на дворянскую культуру.

[^^^]

Ване ...едва минуло семь лет. — Можно предположить, что события разворачиваются в 1797 или 1799 г., поскольку сам Лажечников дату своего рождения относил то к 1790, то к 1792 г.

[^^^]

... ведь тебе шестнадцать лет. Твои погодки уж два года замужем да и детей породили. Сраму, сраму-то не оберёшься, как засидишься в девках. — В XVIII в. Святейший Синод назначил минимальный брачный возраст для юношей и девушек — 15 и 13 лет соответственно.

[^^^]

... она едва разбирала по складам песенники. — Песенник — сборник песен со словами, а также с нотами. В XVIII в. было известно множество как рукописных, так и печатных песенников, среди которых «Собрание разных песен» — сборник в четырёх частях 1770 — 1774 гг. М. Чулкова, «Новое и полное собрание российских песен» в шести частях Н. Новикова (1780 — 1781). Песенник — весьма демократичное для XVIII — первой половины XIX вв. явление, доступное не только высшим и средним слоям, но и простонародью.

[^^^]

Максиму Ильичу было не более двадцати двух лет, когда он на ней женился. — Прототип Максима Ильича — отец писателя, купец Иван Ильич Лажечников (1760-е, Коломна — 1837, Москва), в 1790-е гг. единственный в Коломне именитый гражданин, до своего ареста (1799) городской голова. В биографии писателя, составленной с его слов, читаем: «По смерти отца своего получив богатое наследство, отец Ивана Ивановича Лажечникова построил себе в г. Коломне роскошный дом против церкви Иоанна Богослова... Вообще... жил на богатую дворянскую ногу. Кроме обширной торговли и серного завода в Рязанской губернии он купил ещё себе ... поместье в 23 верстах от Коломны... От природы умный, честный и правдивый...» (Празднование юбилея 50-летней литературной деятельности И. И. Лажечникова 4 мая 1869 г. М., 1869. С. 11 — 12). По архивным свидетельствам, Иван Ильич после смерти отца (1795) завёл в 1797 г. шёлковую фабрику в собственном доме. Согласно сохранившемуся «брачному обыску», Иван

Ильич женился на Татьяне Максимовне Машонкиной, матери писателя, в ноябре 1784 г. (Дымова А. М., Самошин С. И. Документы семьи И. И. Лажечникова из фондов Коломенского краеведческого музея // Лажечников и Коломна: Сборник научных трудов. Коломна, 2005. С. 17).

[^^^]

... связи его отца, Бог знает как и когда сделанные, со многими знатными лицами того времени. — См. комментарии 55, 110. Кроме того, в автобиографии, продиктованной Ф. В. Ливанову, писатель указывает двух вельмож, способствовавших освобождению отца из-под ареста: Куракина и Лобанова-Ростовского. Один из них, скорее всего, князь Александр Борисович Куракин (1752 — 1818), сенатор и вице-канцлер при Павле I, или брат его Алексей (умер в 1829 г.), генерал-прокурор при Павле (первый из братьев известен и своими литературными трудами). Другой — князь Яков Иванович Лобанов-Ростовский (1760 — 1831), бывший с 1794 г. обер-прокурором 5 департамента Сената, затем назначенный в Москву наблюдать за делами в московских департаментах Сената и присутственных местах губернии. Он, кстати говоря, имел в собственности дом в Коломне. Не исключено, что Илья Акимович Ложечников, дед писателя, мог быть знаком и с другими знатными домовладельцами Коломны из рода фельд-

маршала Б. П. Шереметьева, князя Д. М. Голицына, князей Черкасских.

[^^^]

... ходили в немецком платье... имели прислугу и кое-какой экипаж. — Европейская одежда, столовый этикет, наличие слуг и своего выезда — всё это явные приметы стремления Пшеницыных в «лучшие люди».

[^^^]

.... этот род шёл от новгородских именитых людей ... переселены им были в Холодную. — Семейное предание об изгнании предков в Коломну из Великого Новгорода хранилось в роде Ложечниковых, о чём писатель упоминает в автобиографическом очерке «Новобранец 1812 года».

[^^^]

... познакомился он ... с каким-то господином Новиковым. — О знакомстве своего отца с великим русским просветителем Николаем Ивановичем Новиковым (1744 — 1818) Лажечников упоминает в автобиографии, продиктованной Ф. В. Ливанову (см.: Празднование юбилея 50-летней литературной деятельности И. И. Лажечникова... С. 13). Имение Новикова Авдотьино, расположенное сравнительно недалеко от Коломны, во второй половине XVIII в. называлось Тихвинское-Авдотьино и относилось к Никитскому уезду (ныне Ступинский район). До наших дней от усадьбы сохранился каменный флигель, несколько крестьянских домов, построенных Новиковым, и Тихвинская церковь, где он похоронен.

[^^^]

... нравственная контрабанда... «Фоблаз» и несколько других подобных сочинений. — Полное название романа французского писателя XVIII века Жана Батиста Луве де Кувре — «Похождения кавалера Фоблаза». Роман выходил частями (1787 — 1790) и пользовался большим успехом благодаря эротической фабуле. Имя заглавного персонажа романа стало синонимом женского соблазнителя. Упоминается Пушкиным в первой главе «Евгения Онегина»: «Его ласкал супруг лукавый,/ Фобласа давний ученик...». В России в 1790-е годы вышло два перевода: «Приключения шевалье де Фобласа» и «Жизнь кавалера Фоблаза», один из которых, видимо, и приобрёл Максим Ильич Пшеницын. К нравственной контрабанде может быть причислен и другой скандальный французский роман в письмах «Опасные связи» Шодерло де Лакло (1782), русский перевод которого появился в 1804 — 1805 гг. В XIX в. во Франции роман был запрещён как оскорбляющий нравственность.

[^^^]

В приходской церкви ей отведено было почётное место... — Лажечниковы были прихожанами церкви Бориса и Глеба в Запрудах, в ней крестили будущего писателя.

[^^^]

Ванин дедушка, Илья Максимович, широко торговал хлебом ... имел ...несколько лавок ... и дома... — Прототипом Ильи Максимовича Пшеницына был дед писателя, коломенский купец первой гильдии Илья Акимович Ложечников (1730 — 1795). Согласно обнаруженным архивным документам, Ложечниковы, дед и отец писателя, на рубеже XVIII и XIX вв. вели хлеботорговлю, осуществляли поставки соли, владели штофной фабрикой (где производились штоф и парча) и кожевенным заводом в Коломне, серным и купоросным заводом в Рязанской губернии, несколькими домами, лавками и погребями в Коломне (на Большой Астраханской улице, в Запрудной и Лубянской слободе), двумя домами в Москве.

Парча — ткань из шёлка, серебряных и золотых нитей. Как отмечает историк костюма, «парча в первой половине века была сословной тканью для купчих», два других потребителя роскошной материи — царский двор и церковь (Кирсанова Р. М. Сценический костюм и театральная публика в России XIX ве-

ка. Калининград; Москва, 2001. С. 82 — 83).

Штоф — плотная шёлковая ткань различного переплетения. В XVIII — начале XIX вв. относился к дорогим материям и использовался, в частности, для обивки стен.

Делал поставки в казну — то есть поставлял хлеб для государственных нужд. Подряды на поставку провианта в казну были весьма выгодны для купечества, так как государство давало значительные оборотные средства в качестве аванса и гарантировало прибыль.

[^^^]

... слову его верили более, чем акту... — То есть больше, чем официальному документу о сделке.

[^^^]

... сенатору и чрезвычайно богатому человеку, князю Д* (умершему едва ли не столетним стариком)... — Возможно, речь идёт о князе Юрии Владимировиче Долгоруком (1740 — 1830), военном деятеле, генерал-аншефе, участнике Семилетней (1756 — 1763) и русско-турецкой войн (1768 — 1774), Московском градоначальнике (1797). Ю. В. Долгорукий был владельцем имения Никольское-Архангельское под Москвой (ныне Балашихинский район), где жил безвыездно во время отставки в 1790 — 1793 гг. Это позволяет предположить его знакомство и коммерческие связи с дедом Лажечникова.

[^^^]

... дашь деньги и на актец... То есть документально оформишь заём.

[^^^]

... с помощью подьячих. Высосут у тебя мошенники не только деньги, но и кровь. — Подьячий — низший административный чин в XVI — XVIII вв. Делопроизводитель в государственных учреждениях, в данном случае в суде. В 20-е годы XVIII в. их заменили канцеляристы, но в обиходной речи их по-прежнему называли подьячими. Дурная слава должности отражена В. И. Далем: «Подьячего бойся и лежачего!», «Подьячий любит принос горячий», «Подьячий и со смерти за труды просит».

[^^^]

... шлѣшь к нему цидулку. Цидулка — письмо, записка, послание.

[^^^]

... скончалась государыня, благодетельница русского народа. — Речь идёт о Екатерине II Великой (1729 — 1796), императрице Российской (1762 — 1796), период правления которой называют золотым веком Российской империи. Екатериной Алексеевной немецкая принцесса Софья Фредерика Августа Анхальт-Цербстская стала после принятия православной веры.

[^^^]

... холоденские ямщики дельвали в зимний путь сто вёрст... Ямщик — кучер на казённых лошадях, приписанный к почтовой станции. Однако Прасковья Михайловна торопилась и поехала, как увидим, без документов, поэтому наняла вольного ямщика. Такая езда обходилась дороже. *Верста* — старая русская мера длины, равная 1,06 км. Указателем расстояния были полосатые чёрно-белые верстовые столбы.

[^^^]

... переменила лошадей на половине дороги, в Б-ах. — В Бронницах.

[^^^]

В первом селе отсюда осадили кибитку рои девочек. — Скорее всего, это село Велино Бронницкого уезда. Кибитка — крытый экипаж, повозка, имевшая деревянные дуги, на которые натягивалась рогожа.

[^^^]

В Островцах дали лошадям перехватить поковшу воды. — Деревня Островцы (ныне Раменского района) находилась в 29 верстах от Москвы и принадлежала графскому роду Шереметьевых. Здесь был постоянный двор, ямская станция, где можно было переночевать, сменить лошадей.

[^^^]

... Золотые кички ... стягивали их лбы, а сзади шеи... упала блестящая стеклярусная сетка. Кичка (кíка) — старинный женский головной убор. Историк И. Е. Забелин назвал её «короною замужества». Кичка закрывала волосы (замужняя женщина не должна показываться на людях простоволосой) и имела впереди твёрдую часть в форме рогов, лопатки, копытца. Украшалась кичка бисером, жемчугом или вышивкой (например, золотой нитью). Сзади был «позатыльник» из бисера, в данном случае стекляруса. Утягивать лоб и виски считалось модным.

[^^^]

Понёва — женская шерстяная юбка из трёх и более частично сшитых кусков ткани. Понёву носили вместе с кичкой замужние женщины

[^^^]

Кóты — женская обувь, род полусапожек.

[^^^]

... левый рукав овчинного полушубка, обшито-го у иных котиком. Полушубок — верхняя зимняя одежда до колен. Котиком назывался, например, мех сурка, которым отделялись полушубки.

[^^^]

... *С Николы вешнего...* — То есть с 9 мая по старому стилю (Николин день).

... *пошёл четырнадцатый ... другой ровнёхонько два.* — У крестьян брак между мальчиком 13 лет и взрослой девушкой в XVIII веке был обычным делом. Подобная ситуация описана в «Путешествии из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (глава «Едрово»), в «Евгении Онегине» (глава третья, слова няни Татьяны: «Мой Ваня,/ Моложе был меня, мой свет,/ А было мне тринадцать лет») и в «Истории села Горюхина» А. С. Пушкина («Мужчины женивались обыкновенно на 13-м году на девицах 20-летних. Жёны били своих мужей в течение 4 или 5 лет. После чего мужья уже начинали бить жён»). Подобный брак был выгоден помещику, который налагал «тягло» на новую семью, или самой крестьянской семье, где нужна была взрослая работница. Как следствие — распространение «снохачества» (сожительствa свёкра с молодой снохой), которым возмущается Базаров в романе «Отцы и дети» И. С. Тургенева.

[^^^]

... кусочек зеркала, купленный у гуляки дворового человека... — Крепостной, находящийся в услужении у помещика. Существовали собственно дворовые люди — конюхи, садовники, кухарки — и комнатные слуги, лакеи, которые, не будучи обременёнными физическим трудом, могли почитаться (с точки зрения земледельца) «гуляками».

[^^^]

...кусочек белого мыла. — В конце XVIII — начале XIX вв. на всю Россию было известно шуйское мыло, а также туалетное мыло фабрики Ладыгина в Петербурге. Для большинства населения мыло являлось роскошью. Крестьяне обходились золою.

[^^^]

... пока не вышло благодетельное постановление, чтобы не венчать мужчин прежде восемнадцати, а женщин прежде шестнадцати. — Речь идёт о Высочайшем указе 1830 г.

[^^^]

... коровёнки, утоляющие жажду из оледенелых колод. — Большое деревянное корыто грубой отделки для поила.

[^^^]

... разноцветная дуга обогнула месяц. «К добру!» — сказал Ларивон. «К морозу!» — прибавил ямщик. — Одна из народных примет, связанных с луной (месяцем): радужный круг около луны предвещает морозную, а иногда и ненастную, ветреную погоду.

[^^^]

... пушистое марабу. — Пышные перья крупной тропической птицы семейства аистов, используемые как украшение.

[^^^]

Забелели две пирамиды, поперёк их лёг шлагбаум. — Непременные атрибуты городской заставы в те времена. См. у А. С. Пушкина: «Иль чума меня подцепит, / Иль мороз окостенит, / Иль мне в лоб шлагбаум влепит / Непроворный инвалид» («Дорожные жалобы», 1829).

[^^^]

... ямщик слез, чтобы подвязать болтливый язык у колокольчика. — Езда по городу с гремящим колокольчиком была запрещена. Поддужный колокольчик — род старинного «спецсигнала», поскольку был разрешён лишь на почтовых и курьерских тройках. Однако частные владельцы тоже вешали на свои тройки колокольчик, с чем Сенат решил бороться, издав соответствующее постановление.

[^^^]

... Тогда на заставах было очень строго. Прасковья Михайловна забыла застаться видом ... — Заставы появились в Москве в середине XVIII в. на пересечении Камер-Коллежского вала с дорогами, ведущими к древней столице. Использовались они для проверки грузов, ввозимых в город. Со временем таможенные функции застав были отменены, но сохранились полицейские посты внутреннего паспортного контроля. Прасковья Михайловна въезжала в Москву через Покровскую заставу, которая именовалась также Таганской и Коломенской.

Письменный вид — свидетельство для свободного проезда, проживания (паспорт, билет).

[^^^]

... *ночевать в съезжем доме.* — То есть в полицейском участке.

[^^^]

... *целковый всё уладил*. — Серебряный рубль, разговорное название.

[^^^]

... «Подвысь!» — закричал целковый в виде засаленного сюртука... — «Подвысь заставу!», подыми, дай проехать. Сюртук — в переводе с французского означал «поверх всего». Как часть верхней мужской одежды появился в начале XIX века. В отличие от фрака имел полы и высокую застёжку.

[^^^]

... повторил бравый ундер архаровского полка. — Унтер-офицер — младший офицер. Архаровцы — солдаты московского гарнизона, полк по охране порядка в Москве. Названы по фамилии губернаторов, братьев Николая Петровича и Ивана Петровича Архаровых. При них была развита сеть политического и уголовного сыска. Архаровцев москвичи боялись, поскольку те были «и на руку нечисты, и на расправу скоры». Слово впоследствии стало синонимом хулигана, отчаянного, беспутного человека (см.: Муравьев В. Б. Московские предания и были. М., 1988. С. 80 — 81).

[^^^]

... на улицах было пусто и жутко ... хотя был только девятый час. — Явные приметы краткого периода царствования Павла I (1796 — 1801): полицейским приказом определялся час, когда горожане должны были тушить огни в домах.

[^^^]

... в Таганке, у каменного двухэтажного дома. — Дом деда, Ильи Акимовича Ложечникова, действительно располагался в районе Таганки, в приходе церкви Мартина Исповедника, что в Алексеевской Новой слободе. Так указано в его завещании (см.: Лажечников и Коломна: Сб. научных трудов. Коломна, 2005. С. 21).

[^^^]

Флигель — вспомогательная пристройка к жилому дому или отдельно стоящая постройка, входящая в комплекс городской или сельской усадьбы.

[^^^]

... в крашенном халате... — В халате из крашенины, грубой крашеной ткани домашнего производства.

[^^^]

... *разными олимпийскими эпитетами.* —
Здесь: в значении «превосходными, чрезвычай-
но лестными».

[^^^]

Балдахин — ткань, повешенная на карнизе и прикрывающая кровать; предназначался для защиты от сквозняков и любопытных глаз.

[^^^]

Лежанка — невысокий, длинный выступ у печки, на котором можно лежать, спать. См. письмо А. С. Пушкина П. А. Вяземскому (25 января, 1825): «Валяюсь на лежанке и слушаю старые сказки да песни», или «Зимнее утро» (1829): «Весёлым треском/ Трещит затопленная печь./ Приятно думать у лежанки».

[^^^]

В наше время назвали бы её фавориткой. — Слово «фавор» (личное расположение к кому-либо) бытовало в русском языке уже в первой трети XVIII в. К середине века общеупотребительным становится слово «фаворит». «Фаворитка» появляется в русском языке позднее: впервые оно зафиксировано в 1806 г. Распространилось слово, по-видимому, ко времени создания повести.

[^^^]

... *перед иконами в золотых ризах.* — Риза — оклад, тонкое металлическое покрытие на иконе, оставляющее открытыми только изображение лица и рук.

[^^^]

... кипами ассигнаций, синеньких, красненьких и беленьких. — Бумажные денежные знаки, были введены в России в 1769 г. Екатериной II. «Синенькие» — достоинством пять рублей, «красненькие» — десятирублёвые, «беленькие» — сто рублей.

[^^^]

... холстинные пузастые мешочки... — Льянной ткани из толстой пряжи кустарной выделки.

[^^^]

*А меди в кладовой едва ль не до потолка. — То
есть медной монеты.*

[^^^]

Не из Гуслицких лесов пришли ко мне капиталы. — Гуслицы — местность на востоке Московской губернии, в Богородском уезде (территория современного Орехово-Зуевского и Егорьевского районов, на границе с Рязанской и Владимирской областями). Население пользовалось дурной славой: здесь было немало разбойничьих шаяк, край известен как один из центров изготовления фальшивых денег. Процветали конокрадство, сбор денег «на погорелое» и другие криминальные промыслы.

[^^^]

... не топил я пустых барок... — См. эпизод с Треххвостовым во второй тетради. Против отца писателя, Ивана Ильича Ложечникова, в 1811 г. было выдвинуто обвинение в похожей махинации: взяв казённый подряд на поставку 300 кулей соли в Москву по реке, он обязательство не выполнил. Крестьяне, подряженные Ложечниковым, якобы были им подкуплены, а соль была распродана в одном из сёл. Для покрытия недоимки Ложечников продал лавки и дома, которыми владел (Центральный исторический архив г. Москвы. Ф. 54. Оп. 175. Д. 568).

[^^^]

Шильничать — по Далю, — мошенничать, плутовать, обманывать, натягивать в свою пользу.

[^^^]

Разве вы с государыней говорили? ...Осчастливлен был-таки... — Согласно манифесту Екатерины II от 14 декабря 1766 г. представители разных сословий призывались в Комиссию по составлению нового уложения (законодательства), «чтобы от них выслушать нужды и недостатки каждого места» и для обсуждения проекта нового законодательства. От городских жителей Коломны был избран Иван Демидович Мещанинов. Наказ ему в июне 1767 г. подписали и другие видные купцы, в том числе «коломенский первой гильдии купец, серного и купоросного завода содержатель Илия Ложечников», т.е. дед писателя (Сборник императорского русского исторического общества. Т. 93. СПб., 1894. С. 149). Встреча Ильи Акимовича с Екатериной II, скорее всего, должна быть отнесена к 14 — 15 октября 1775 г., когда во время визита в Коломну императрица беседовала с местными предпринимателями.

... такая доточная. — Архаичный вариант слова «дотошный». В. И. Даль в своём словаре приводит пример пословицы: «Мастер доточный, да хмель оброчный».

[^^^]

*Пускай гуляет наше имя по широким морям
и чужим берегам!..* — Мечты Ильи Максимо-
вича вполне обоснованны: купцы первой
гильдии (к которым и принадлежал дед Ла-
жечникова) имели право вести заморскую
торговлю.

[^^^]

... Но смотрите...не вздумайте его в офицеры. Чтобы он у меня оставался купцом! — Иван Иванович Лажечников, получив домашнее образование (см. комментарий 333), был записан в 1802 г. в Московский архив Коллегии иностранных дел. В 1812 г. вступил прапорщиком в Московское ополчение. Вышел в отставку в 1819 г. в чине поручика лейб-гвардии Павловского полка и перешёл на гражданскую службу.

[^^^]

... на Московской большой улице, против Иоанна Богослова... — Старое название улицы в Коломне (позднее Астраханская, ныне Октябрьской революции), лежавшей на тракте Москва — Астрахань. Выходящий на неё храм Иоанна Богослова, «церковь на торгу», построена в 1756 г., перестраивалась в 1824 — 1846 гг., после чего её новая колокольня стала главной вертикалью старого города.

[^^^]

... *купчую совершите.* — Купчая крепость — акт приобретения в собственность имущества в Российском государстве XII — начала XX вв.

[^^^]

... золотых *арабчиков*. — Золотая русская монета в 10 рублей (империал, лобанчик).

[^^^]

... из воска выливаются на святочных вечерах.
— Традиционное гадание на Святки, праздничные дни от Рождества до Крещения.

[^^^]

... давал ей своих рысаков для катания к ледяным горам и к бегу... — Катание на тройках на Таганке и в Замоскворечье, спуск с ледяных гор, конные бега на льду Москвы-реки были кульминацией масленичных гуляний.

[^^^]

... заставлял ... играть комедь — чьего сочинения, неизвестно.... — Труппы «охочих комедиантов», т.е. непрофессиональных актёров, а также «доморощенный» театр в XVIII в. получили большое распространение. Актёры итальянской комедии дель-арте, обосновавшиеся при дворе Анны Иоанновны, способствовали развитию на русской почве народной комедии импровизационного характера. Часто тексты интермедий, сцен и диалогов существовали только в устной форме, «обрастая» различными вариациями. Наряду с итальянскими персонажами (Херликин, он же Гаер, т.е. Арлекин), в них действовали русские народные типы (Шапошник, Мужик, Мошенник, Чёрт, Раскольник, Цыган). К ним относятся Мельник-колдун и Угольщик в популярной у купцов «камеди». Об успехе Мельника у самой разной публики говорят и литературные сюжеты с его участием: комическая опера А. О. Аблесимова «Мельник — колдун, обманщик и сват» (1779), комедия П. А. Плавильщикова «Мельник и сбитенщик — сопер-

ники» (1789).

Камедь, игрище — Лажечников употребляет простонародно-архаичные слова, подчёркивая специфику домашнего купеческого театра.

[^^^]

Наштукатуренные и чернозубые купчихи... — Канон купеческой красоты. Ценилась белизна кожи, для чего основательно белили лицо (штукатурились), в основном мукой; чёрные зубы (с кариесом) считались признаком зажиточности: чай с обильными сладостями могла позволить себе не каждая. Если же кариеса нет, зубы чернили нарочно.

[^^^]

... доморощенный трубадур с бандурой, с песнями и пляской. — Здесь: поэт-самоучка. Скоморошество, традиции которого сохранились и в XVIII в., было искусством синкретичным: скоморох был одновременно драматическим актёром, поэтом, музыкантом, циркачом. *Бандура* — струнный музыкальный инструмент. Думается, «трубадур с бандурой» привлёк Лажечникова своей каламбурностью.

[^^^]

... сальто-мортале... станет опять на ноги. —
Чудом акробатики был тогда так называемый
«шпагат».

[^^^]

... с графом Алексеем Григорьевичем Орловым... так поневоле хватаешься за шапку — А. Г. Орлов-Чесменский (1737 — 1808), сподвижник Екатерины II, известный московский богач и хлебосол. Современник вспоминал: «Какой рост, какая вельможная осанка, какой важный и вместе добрый, приветливый взгляд! Такое-то почтение привлекал к себе любезный москвичам боярин, щедро наделённый всеми дарами: и красотой, и силой разума, и силой телесной» (П. И. Страхов). Лажечников упоминает наиболее яркие увлечения графа — кулачные бои на льду Москвы-реки, разведение почтовых голубей. С именем А. Г. Орлова связано благоустройство Нескучного сада в Москве, где находилось имение графа, развитие отечественного коннозаводства (создание особой породы орловских рысаков).

[^^^]

Не то что какой-нибудь шематон... — прощелыга, фат, пустой человек.

[^^^]

... в чуйке из зелёного порыжелого бархата ... в галстуке... — Чуйка — длинный суконный кафтан халатного покроя (с косой горловиной), полы которого глубоко заходили одна за другую. Чуйка — типично купеческая одежда — и дворянский аксессуар галстук много говорят об их хозяине. Повязывать галстук Гаврила, естественно, не умел.

[^^^]

... *диговинный голубь* — *турман...* — ГО-
лубь-вертун.

[^^^]

... пятнышком не более гроша... — То есть медного двухкопеечника.

[^^^]

... дал на струмент и дурацкую одёжу. — На музыкальный инструмент и шутовской костюм.

[^^^]

Цыцыла, Цецилия — остров Сицилия в Средиземном море, где находятся известные со времён Древнего Рима месторождения самородной серы. По всей видимости, серный завод купца Пшеницына перерабатывал заграничное сырьё, которое было значительно дешевле добываемого в России (серный завод в Самарской губернии работал на собственной сере, в Ярославле, Кадоме и Елатье производство основывалось на привозной).

[^^^]

... ночуй в Люберцах... а то в Волчьих Воротах шалят. — В селе Люберцы находился постоянный двор. Волчьи Ворота Лажечников упоминает в романе «Последний Новик»: «В теснине Волчьих Ворот, поперёк дороги, лежит сосна, взъерошившая свои мохнатые сучья и образовавшая из них густой частокол. Ищу в лесу место, где бы мне перебраться на дорогу, как вдруг из-за кустов прямо на меня несколько молодцов с дубинами и топорами...». Примечание Лажечникова: «Так называется и доныне место в лесу, по Коломенской дороге, в двадцати трёх верстах от Москвы. За несколько ещё десятков лет оно было заставою разбойников». Волчьи Ворота — глухие места между Жилином и Балятином (нынешним посёлком Октябрьским), окружённые со всех сторон непроходимым лесом и болотами, чем и пользовались разбойники.

[^^^]

Это дерево подало Мерзлякову мысль написать известную песнь... — Алексей Фёдорович Мерзляков (1778 — 1830) — русский поэт и литературный критик, профессор Московского университета; его лекции усердно посещал И. И. Лажечников, подражавший ему в своих юношеских стихах. Романсы и песни Мерзлякова пользовались большой популярностью. Самая известная песня — «Среди долины ровныя...» (1810) на музыку Д. Н. Кашина.

[^^^]

«Чёрная шаль» Пушкина. — Стихотворение 1820 г., было положено на музыку многими композиторами XIX — XX вв. Наибольшей популярностью пользовался романс 1823 г. на стихи А. Н. Верстовского.

[^^^]

Деревня Теряевка — народная этимология ряда топонимов Московского уезда свидетельствовала о том, что места эти для купцов были небезопасными: подъезжая и предчувствуя недоброе, путники начинали «поменьку ахать» (отсюда Малая Аховка — Малаховка), в Краскове разбойники грозно вопрошали купцов: «Красть у кого?», в Томилине «томили» и т.д. Название «Теряевка» Лажечников мог знать по службе в Пензенской губернии, кроме того в окрестностях Москвы существовала в те времена деревня Обираловка (сейчас город Железнодорожный), весьма близкая по семантике к Теряевке.

[^^^]

... *наподобие свиных клетухов...*— Клетух — небольшая клеть, загон для домашней скотины.

[^^^]

... двory без покрышки ... — Часто хозяйственные постройки (хлев, конюшня, сенник) и изба ставились под одной связью и имели общую крышу.

[^^^]

... окна, заткнутые кое-где грязными тряпичками... — Ещё одна примета бесхозяйственности жителей: обычно отверстия в окнах закрывали слюдой или бычьим пузырём.

[^^^]

Мушкетон — разновидность огнестрельного оружия, короткоствольное ружьё, у которого дуло было больше заряда. Это позволяло заряжать оружие картечью или рубленым свинцом. Считалось, что так увеличивается площадь поражения.

[^^^]

... в волчок кибитки...– Крытый верх кибитки.

[^^^]

... *крупитчатыми папушиками*... — Пшеничный хлеб из муки крупчатки (с крупинками).

[^^^]

*... напитанная смоляным запахом от стен
только перелетовавших — то есть срублен-*
НЫХ В ПРОШЛОМ ГОДУ.

[^^^]

Залавок — лавка с подъёмной крышкой у дверей, другое её название — коник.

[^^^]

Хомут — часть конской упряжи, надеваемая на шею лошади. Состоит из деревянного остова и мягкого валика.

[^^^]

... в Кос-ой губернии, напала на него шайка разбойников, а атаманом у них был князь К-ий. — Скорее всего, речь идёт о князе Николае Ивановиче Козловском, владельце усадьбы Борщёвка в Костромской губернии (ныне Ивановская область). Рядом, в Плесе, была крепость легендарного волжского разбойника Ивана Фаддеича, о котором упоминает А. Ф. Писемский в своём рассказе «Старая барыня». Разбой на Волге в XVIII и даже в XIX веке был настолько доходной статьёй, что им не брезговали дворяне и лица духовного звания.

[^^^]

Нетопырь — летучая мышь.

[^^^]

... едва ли не с Ивана Великого сплошь на все три улицы... — Колокольня Ивана Великого на Соборной площади Московского Кремля. В то время она была самым высоким сооружением на Руси (высота 81 метр). «Три улицы» в Коломне — Астраханская, Ивановская, Поповская (ныне Гражданская): усадьба занимала целый квартал.

[^^^]

... мерными ударами валька... — Валёк — деревянная прямоугольная пластина с рукояткой для выколачивания белья во время стирки.

[^^^]

... били на бойнях тысячи длиннорогих волов, солили мясо, топили сало, выделывали кожи и отправляли всё это в Англию... — Описана одна из основных в XVIII — начале XIX вв. отраслей коломенской коммерции — скотопрмышленность. За городом вниз по Москве-реке находились загоны, пастбища, скотобойни и салотопни, на которые перегонялось до 16 тысяч голов скота ежегодно, в основном с юга. На европейские рынки ежегодно отправлялось до 35 тысяч пудов топлёного сала. В Коломне в конце XVIII в. насчитывалось до 15 кожевенных заводов, в том числе завод Лажечниковых. Связь последнего с английским рынком И. И. Лажечников отмечал в автобиографическом романе «Немного лет назад».

[^^^]

... скрипели на рынках сотни возов... — Центральным был рынок на Житной площади. Регулярно по понедельникам и четвергам сюда наезжали для торга крестьяне (Чеботарёв Х. А. Историческое и топографическое описание городов Московской губернии с их уездами... М., 1787. С. 367).

[^^^]

... толпы отчаливали к городскому кладбищу, чтобы полюбоваться на земле покойников очень живыми кулачными боями. — Имеется в виду городское кладбище у церкви Петра и Павла, начавшее функционировать с 1755 г. (на месте нынешнего Мемориального парка).

[^^^]

... *щи, на которых плавало по вершку сала...* —
Вершок — старинная русская мера длины,
равная 4,4 см.

[^^^]

После обеда, вместо кейфа, беседовали немного с высшими силами... — Кейф — приятное безделье, отдых. Слово пришло в русский язык из арабского. Первое его употребление зафиксировано в 1821 г. у востоковеда и журналиста О. И. Сенковского: «Путешественники, бывшие на Востоке, знают, сколь многосложное значение имеет выражение кейф. Отогнав прочь все заботы и помышления, развалившись небрежно, пить кофе и курить табак называется “делать кейф”. В переводе это можно бы назвать “наслаждаться успокоением”» (см.: Колесов В. В. Язык города. М., 1991. С. 166). Ср. современное англоязычное «кайф».

[^^^]

... по жбану пива, только что принесённого со льду... — Жбан — высокий кувшин с узким верхом, крышкой, ручкой и носиком, для кваса, браги. Скоропортящиеся продукты хранили на лёднике — в погребе, набитом льдом, который заготавливали зимой на реке.

[^^^]

Сеннік — «второй этаж» хозяйственного двора, устраивался над сараем и служил для хранения сена.

[^^^]

... сказки про Илью Муромца и Бову Королевича. — Самыми доступными изданиями сказок в XVIII—XIX вв. были лубочные картинки. Источником «Повести о Бове Королевиче» стал переводной рыцарский роман. Оказавшись на русской почве, сюжет и персонажи обрели национальные черты. Лубочная книга «Сказка о славном и сильном богатыре Бове Королевиче и о прекрасной супруге его Дружневне» была настолько популярна, что выдержала более 200 изданий.

[^^^]

... читает *«Вечного Жида»* ... — Роман Эжена Сю *«Вечный Жид»* (переработка легенды об Агасфере — иерусалимском ремесленнике, который оттолкнул шедшего на распятие Христа, за что был осуждён на вечное скитание), наполненный тайнами и приключениями, был напечатан во Франции в 1844 — 1845 гг. и тогда же переведён на русский язык. Был особенно популярен у низового читателя.

[^^^]

... усаживались чинно, словно немые гости на наших театральных подмостках... — Лажечников говорит о сложившейся в XIX веке традиции: театральные статисты часто оправдывали своё название и, изображая бессловесных гостей, играли ходульно, напыщенно.

[^^^]

... просьбою понудиться ... прошением впредь жаловать и не бессудить на угощении. — В. И. Даль приводит ряд синонимов: понудьтесь, покушайте, поневольтесь. «Не бессудьте, чем Бог послал», — говорят угощая. Бессудить — осуждать. Таким образом, Лажечников здесь воспроизводит традиционные формулы речевого этикета хозяев дома.

[^^^]

Когда стояли в нём полки ... если постоялец его офицер держал свой чай и свой стол. — Возможно, так оно и было, хотя сохранились документы, рисующие иную картину. В наказе коломенских граждан (среди подписавших его был и дед Лажечникова) для Уложенной комиссии 1767 — 1768 гг. внесено было предложение построить специальный штабной двор поблизости от города и тем освободить горожан от военных постоев (см.: Бочкарёв В. Н. Коломна в середине XVIII века: по материалам Уложенной комиссии 1767 — 1768 годов // Вопросы социально-экономической и политической истории города Коломны. М., 1981. С. 8). К 1 июня 1779 г. относится Донесение от купечества и мещанства г. Коломны в городской магистрат (хранится в Российском государственном военно-историческом архиве) с просьбой об освобождении от постоянной повинности по содержанию войск, что объясняется «отягощением» домовладельцев.

В городе ни одного трактира. Они появились только незадолго до двенадцатого года. — Трактирами назывались «гостиницы, харчевни, где пьют и едят из платы» (В. И. Даль). На плане Коломны 1800 г. зафиксировано два трактира — один на выезде напротив Маринкиной башни, а другой — на торговой площади. Возможно, что перечисленные заведения Лажечников не счёл трактирами, т.к. трактир прежде всего должен был обладать приличной кухней и находиться при гостинице, потому в начале XIX века в этом смысле можно было говорить о наличии трактиров лишь в столичных и некоторых губернских городах. В седьмой главе «Евгения Онегина», написанной в 1828 г. Пушкин мечтает: «И заведёт крещёный мир / На каждой станции трактир».

[^^^]

... дом под вывескою ёлки... — Питейный дом, а в просторечии кабак. На вывеске изображалась ёлка и двуглавый орёл. Отсюда народное название заведения — «Иван Ёлкин».

Харчевня — закусочная, где подают дешёвую, простую еду. По разряду ниже трактира.

[^^^]

... не прикасались устами к струям шипучей ипокрены... — В греческой мифологии Ипокрена — источник на горе Геликон, образовавшийся от удара копыта крылатого коня Пегаса; воды источника пробуждали поэтическое вдохновение. Лажечников иронически обыгрывает образ Ипокрены, подразумевая под ней, скорее всего, шампанское.

[^^^]

... можно было дешёво черпать из неё на Арбате под вывескою: здесь делают самое лучшее шампанское. — Речь идёт, по-видимому, о коломенском «шампанском», производившемся на Арбатской улице (это могло быть так называемое «полушампанское», похожее на яблочный сидр). Типично русская черта, подмеченная ещё Гоголем: «магазин с картузами, фуражками и надписью: “Иностранец Василий Фёдоров”» («Мёртвые души», глава первая).

[^^^]

... целебные настойки под именами великих россиян ... наравне с изобретателями железных дорог и электрических телеграфов... — Среди подобных настоек наиболее прославлен был «ерофеич», названный так, согласно одной версии, по отчеству виноторговца Василия Ерофеича, а по другой, в честь цирюльника Ерофеича, жившего во второй половине XVIII в. и успешно лечившего спиртовыми настойками на травах. Так, ему будто бы удалось вылечить графа А. Г. Орлова от тяжёлого заболевания желудка. К изобретателям железных дорог можно отнести англичанина Д. Стефенсона, построившего в 1825 г. первый паровоз. В России первый, как его называли, «сухопутный пароход» построил Ефим Черепанов с сыном в 1833 г. на нижнетагильских горных заводах. Среди первых телеграфных аппаратов, носящих имена их изобретателей (например, американца С. Морзе), есть и аппарат русского инженера Б. С. Якоби.

... Верхний должен был служить для временного жилья самих владельцев, нижний назначался для служб. — Нижний этаж флигеля сохранился до наших дней. В нём в настоящее время размещена экспозиция, посвящённая И. И. Лажечникову.

[^^^]

... Флигель этот с выведенным уже вчерне большим каменным двухэтажным домом, соединили галерею на арке. — Планировка нового купеческого дома во многом повторяла дворянскую усадьбу, в которой флигели нередко были не отдельно стоящими зданиями, а составляли с господским домом единый ансамбль. По описи 1796 г. усадьба Ложечниковых состояла из трёх домов «под одной связью» (Невзорова Л. Очерки из истории рода Ложечниковых // Коломенский альманах. Вып. 6. 2002. С. 292).

[^^^]

... в нижнем этаже этого дома... — Описание главного дома усадьбы Ложечниковых на 1810-е годы находим в печальном документе «О продаже недвижимого имущества коммерции советника И. Лажечникова в счёт уплаты недоимки по поставке соли»: «Состоящий в городе Коломне на Астраханской улице каменный двухэтажный дом ... Из коего в верхнем этаже шесть комнат щикатуренные и по стенам расписанные ... Тринадцать окон с украшенными рамами, со стёклами, с верху сего на улицу ... балкон с перилами, со стёклами деревянная дверь на двор... На обе улицы по одному деревянному крыльцу...» (Центральный исторический архив г. Москвы. Ф. 54. Оп. 175. Д. 568. Л. 185).

[^^^]

Нáрочный — гонец, курьер, посланный со
спешным поручением.

[^^^]

Раздел между сыновьями совершился полюбовно, как сделали бы его промеж себя Орест и Пилад. — Персонажи греческих мифов. Орест воспитывался в доме царя Строфия, где и возникла его дружба с царским сыном Пиладом. Пилад поддерживал Ореста во всех жизненных испытаниях. Их имена являются символом верной и преданной дружбы. Братьям Ивану и Емельяну Ложечниковым пришлось самим делить наследство, т.к. в завещании отца их доли не были дифференцированы (текст завещания см. в кн.: Лажечников и Коломна. С. 21 — 22). По этому документу третьему сыну Трифону, вероятно, непутёвому, доставалась сумма в 20 тысяч рублей с выплатой лишь тогда, когда он «покажет себя добрым гражданином» и сей факт будет подтверждён его братьями, «у коих быть ему в опеке и совершенном послушании».

[^^^]

Поручик — в царской армии обер-офицерский чин, выше подпоручика, но ниже штабс-капитана.

[^^^]

Букли и коса... — Парик с локонами на висках и косой сзади был обязательным требованием моды XVIII столетия.

[^^^]

... полголовки сахара, чайку четвёртку, нанки на исподнее... — Самой распространённой в России формой сахара была так называемая сахарная голова: на фабрике сахар отливали в специальные конические формы. Сахарные головы изготовлялись весом в пуд (16,38 кг), полпуда и меньше.

Четвёртка чаю — четверть фунта, примерно 102 грамма.

Нанка — толстая хлопчатобумажная ткань, обычно жёлтого цвета. *Исподнее* — нижнее бельё.

[^^^]

Два гривенника — 20 копеек. (Гривенник — монета в 10 копеек).

[^^^]

... его уж и не величали благородием... — Чин поручика соответствовал XI классу «Табели о рангах», в соответствии с которым полагалось уставное обращение «Ваше благородие».

[^^^]

Рóспуски — дроги, как правило, для перевозки грузов (ломовые, водовозные роспуски). Как называет их В. И. Даль, «простая трясучка для езды в поле, на охоту, без кузова».

[^^^]

Письмоводитель — секретарь, старший чиновник в канцелярии.

[^^^]

... запьют мир добрым крючком пенного под веткою оливы в виде ельника... — То есть отметят мировую в трактире. Крючок, по В. И. Далю, — чарка вина, равная 0,12 л (т.е. двум шкаликам, или косушкам); черпак использовался при продаже вина в розлив и был укреплён на длинной рукоятке с крючком, с помощью которого он подвешивался на край бочки или ведра.

[^^^]

... ждёт своего сыра — по примеру знаменитой басенной Лисицы.

[^^^]

... всё делалось больше на словах и на палках.
— То есть посредством устного внушения ли-
бо через телесное наказание.

[^^^]

... дел за номерами в полиции очень мало оказывалось ... в бумагах много не рылся, за очисткою номеров не гонялся. — С 1775 г. были учреждены Управы благочиния (или полицейские управы). Согласно Уставу благочиния городской полицией руководил городничий. В его ведении находилось судопроизводство, которое должным образом оформлялось (заводилось дело с «номером»).

[^^^]

Дрожки — лёгкая летняя повозка для езды в городе, с коротким ходом (короткие дроги). Рассчитана была на двух человек — кучера, сидящего на козлах, и седока.

[^^^]

Предводитель — уездный предводитель дворянства. В 1766 г. Екатерина II предписала дворянам каждого уезда избирать на два года уездного предводителя. Это позволяло активизировать участие дворянства в местном самоуправлении.

[^^^]

Голова. — Согласно «Грамоте на права и выгоды городов Российской империи» 1785 г. городские обыватели для общественного управления составляли Общую городскую думу из гласных и городского головы. Городским головой Коломны в описываемое время был отец писателя Иван Ильич Лажечников.

[^^^]

Онучки (онучи) — портянки, подвёртки вместо чулок под сапоги или лапти.

[^^^]

Ключ к месту заключения у самого Насона Моисеича; он держит его в мундире, у сердца своего, как и подобает. — Устав благочиния давал полицейским властям обширные права по отношению к обывателям, в частности, право лишения свободы, ареста.

[^^^]

... как будто зовёт свою Эвридику. — Героиня древнегреческого мифа, жена певца Орфея, погибшая от укуса змеи. В отчаянии Орфей отправляется за Эвридикой в царство мёртвых.

[^^^]

... присяжные ценовщики. — Ценовщик — оценщик по обязанности, потому присяжный. ... оценили его в 36 рублей 27 и $\frac{3}{4}$ копеек. — Денежная реформа Петра I ввела в обращение медную копейку, в результате чего существовавшие ранее деньга и полушка стали стоить $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$ копейки. Дроби в обозначении стоимости сохранялись вплоть до революции 1917 года и последующей денежной реформы.

[^^^]

Коллежский секретарь — гражданский чин X класса в «Табели о рангах». Для должности городничего чин довольно низкий. Городничий должен быть чиновником VI — VIII классов.

[^^^]

... из числа тех господ, которые носят романтическое имя и половину фамилии своего отца... — Намёк на незаконное рождение персонажа: фамилии внебрачных детей русских аристократов образовывались иногда усечением фамилии отца (И. П. Пнин — сын фельдмаршала Н. В. Репнина, И. И. Бецкой — сын генерала-фельдмаршала И. Ю. Трубецкого, Е. Г. Тёмкина — дочь императрицы Екатерины II и светлейшего князя Г. А. Потёмкина-Таврического). Так, коломенским городничим в 1801 — 1803 гг. был Александр Николаевич Рубецкой.

[^^^]

Солитёр — крупный бриллиант, вставленный в оправу без других камней (от фр. *solitaire* — одинокий).

[^^^]

Амбрé — сорт духов.

[^^^]

Всё упрасивал, чтобы купцы не скупали ничего за заставами. Это, говорит, какое-то манноболе! Видно, по-малороссийски или по-чухонски... — Скорее всего, речь идёт о запрете на скупку товаров за пределами города, что позволяло покупать дёшево, а продавать втридорога. За «иностранное» холоденцами было принято слово «монополия».

[^^^]

... написал оду на лихоимство. — Явный авторский сарказм. Торжественный жанр оды прославлял высоким слогом монарших особ, полководцев, пробуждал гражданские чувства (М. В. Ломоносов, «Ода на день восшествия на всероссийский престол... императрицы Елисаветы Петровны», А. С. «Пушкин», «Вольность»). Человеческие пороки, в частности взяточничество, должна была осуждать сатира.

[^^^]

В нынешнее время графиня взяла бы в секретари француза... Всё были старые роялисты! — Лажечников, видимо, описывает время правления Павла I, промежуток между Великой Французской революцией 1789 г., когда в Россию бежали «старые роялисты» — сторонники монархии и противники революции, и первым десятилетием XIX в., о котором И. М. Муравьёв-Апостол писал: «К нам, на Любских судах, вместе с устерсами и Лимбургским сыром, приплывали целые грузы французов, — парикмахеров, поваров, модных торговок и учителей. <...> Французики, не только в столицах, но и по всему пространству России рассыпались и находили средства овладеть умами во многих домах, как знатных, так и незнатных» (Сын Отечества. 1814. Ч. XII, № 7. С. 25).

[^^^]

Стрелял он так метко, что попадал в серебряный пятак. Письмоводитель... попадал только в медный пятак. — Диаметр серебряной пятикопеечной монеты XVIII в. составлял 14 мм, в то время как медный пятак был внушительных размеров — 41 мм.

[^^^]

... любил почесать язычок на счёт других... едва не подпал большой беде. — Как говорится в биографии Лажечникова, записанной с его слов, «отец... любил острить на счёт пороков некоторых, заслуживающих того лиц; как человек прямой, он сострил однажды и над одним высокопоставленным в г. Коломне духовным лицом. Священник местный, домашний русский учитель, облагодетельствованный отцом Лажечникова, желая подслужиться начальству, шепнул ему об этом. Слова были переданы высшему в Коломне духовному лицу и скоро достигли, разумеется, с прибавлениями, до Петербурга» (Празднование юбилея 50-летней литературной деятельности И.И. Лажечникова. С. 12). Иван Ильич был арестован и заключён в Петропавловскую крепость. Только заступничество влиятельных особ спасло его.

[^^^]

Модест Эразмович научил его первым правилам стихотворства и декламации. — Декламация — искусство чтения стихов. В журнальной публикации повести это предложение начиналось словами: «Когда мальчику минуло десять лет...». В автобиографии «Моя жизнь» И. И. Лажечников относит начало своего сочинительства (сперва на французском языке) к 13 годам (Дом Лажечникова: Ист.-лит. сб. Вып. 1. Коломна, 2004. С. 18).

[^^^]

Акростих — стихотворение, в котором начальные буквы строк составляют какое-либо слово или фразу.

[^^^]

... «с толком, с чувством, с расстановкой». — Неточная цитата из явления I действия II комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума», слова Фамусова: «Петрушка, вечно ты с обновкой,/ С разодранным локтём. Достань-ка календарь;/ Читай не так, как пономарь,/ А с чувством, с толком, с расстановкой».

[^^^]

Титулярный советник — гражданский чин IX класса по «Табели о рангах».

[^^^]

... *выя хоть сейчас под ярмо...* — Шея такова, что выдержит деревянный хомут для рабочего скота.

[^^^]

... проходил служение в каком-то месте вроде
экзекуторского. — Экзекутор — чиновник
при канцелярии или присутственном месте,
исполняющий полицейские и хозяйственные
обязанности. В. И. Даль приводит замечатель-
ную пословицу: «Экзекуторский желудок всё
варит: и бумагу ест, и перья ест, чернила ест,
и песок ест!»

[^^^]

a petit jour– чуть свет (франц.).

[^^^]

... в каждом порядочном городе вы найдёте мне товарища гебра, поклонника фонарного огня, горящего от зелёного масла. Гебр — огнепоклонник, исповедующий религию Зороастра (в Персии и в Индии). Лажечников говорит о фонащиках, которые не только заправляли уличные фонари зелёным конопляным маслом, но и охотно сдабривали им свою кашу. В целях борьбы с этими злоупотреблениями и для улучшения городского освещения в масло стали добавлять хлебный спирт, что только усугубило ситуацию. Кардинально решить проблему удалось только с появлением керосиновых фонарей в 1863 г.

[^^^]

... из каждой дести по несколько листов, а из каждой стопы по несколько дестей . — Десть — мера или счёт писчей бумаги, 24 листа. Стопа — двадцать дестей.

[^^^]

Сажень (дров) — сажень кубическая (2,13 м³).

[^^^]

... *выхватит ковёрчик из рук выездного...* —
Выездной лакей, гайдук, который располагался позади кузова кареты, на запятках. В его обязанности входило открывать и закрывать дверцу кареты, откидывать ступеньку-подножку.

[^^^]

Салоп — верхняя женская одежда, утеплённая ватой или мехом, с длинной пелериной, с широкими рукавами или без рукавов, напоминает накидку.

[^^^]

Детей моих перебило бы поленом дров! — В тексте повести, опубликованном в «Русском вестнике», было более резко: «детей моих всех».

[^^^]

... тут он говорил более жалостным голосом.
— В «Русском вестнике» — жалостливым.

[^^^]

Фистула — то же, что и фальцет — тонкий, сдавленный голос.

[^^^]

Акциденция — взятка.

[^^^]

«*Un homme sans foi, ni loi*» — Человек без совести и чести (франц.)

[^^^]

«*Гуляй, мой меч!*» — Цитата из драмы Н. В. Кукольника (1809 — 1868) «Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский» (1835): «Гуляй, мой меч! Пришла твоя трапеза,/ Твой жирный пир! Гуляй, мой друг, гуляй» (слова мятежника Прокопа Ляпунова).

[^^^]

Лиссабонское — сорт португальского крепкого вина.

[^^^]

... на чубаром иноходце... — Лошадь, бегающая иноходью; одновременно вперёд выбрасывает обе правые или обе левые ноги. *Чубарый* — масть с тёмными пятнами по светлой шерсти (конь в яблоках).

Пристяжная — лошадь, запряжённая сбобку от оглобель в помощь коренной. Такая упряжка называлась «парой на отлёте».

[^^^]

Афронт — посрамление.

[^^^]

... *живота его*. — В. И. Даль отмечает как областную форму «животá» для обозначения лошадей, в отличие от «живóты» — всего домашнего скота.

[^^^]

... в явочном объявлении. — Прошение о по-
краже, пропаже.

[^^^]

... выручать своего доброго воронка. — В тексте, опубликованном в «Русском вестнике», — «дорогого воронка».

[^^^]

... *почешет грудь*... — В «Русском вестнике» —
«и в других местах».

[^^^]

Куверт (франц. *couvert*) — устаревшее наименование конверта.

[^^^]

Под колоколами спросят. — От выражения «стоять под колоколами», т.е. принимать очистительную присягу, клясться в невинности. Такая клятва использовалась, когда против ответчика не было улик, но были серьёзные подозрения в его виновности. Присяга принималась после целования креста при колокольном звоне и стечении народа. Эта процедура описана Лажечниковым в романе «Немного лет назад» (часть 4, глава 2).

[^^^]

Надзиратель — кварталный надзиратель, самая низшая полицейская должность в городе. Надзиратель подчинялся частному приставу.

[^^^]

... в пользу богоугодного заведения... — Богоугодные заведения — детские приюты, дома престарелых, странноприимные дома и т.п. С 80-х гг. XVIII в. около Пятницких ворот существовала Пятницкая богадельня коллежской советницы Т. И. Тетюшевой, а на средства купца Мещанинова в 70-е гг. была построена богадельня на Петропавловском кладбище (см.: Ломако Е. Л. Провинциальное купечество екатерининской эпохи // Коломна и Коломенская земля: история и культура. Коломна, 2009. С. 333).

[^^^]

Пошевни — розвальни, широкие сани, обшитые лубом, тѣсом.

[^^^]

Мерлушки — густой с крупными завитками мех из шкуры ягнёнка.

[^^^]

Нагольный тулуп — кожей наружу, без матерчатого верха.

[^^^]

Исправник — высшая полицейская власть в уезде. Должность была учреждена Екатериной II и просуществовала до реформы 1862 г.

[^^^]

Ражий — крепкий, плотный, здоровый, сильный.

[^^^]

Пощечётся — поживиться чем-либо, попользоваться поживой (В. И. Даль).

[^^^]

Староста — барский староста, бурмистр, управитель из крестьян.

[^^^]

Клеть — чулан, амбар, кладовая.

[^^^]

Приказчик — здесь: управляющий именем помещика.

[^^^]

Ерофеич — См. комментарий 150. Рецепт знаменитой русской водки овеян тайной. Вариации самые разнообразные, например: 2 л водки, 100 г мяты, 80 г аниса, 80 г померанцевого ореха. После двухнедельного настаивания процеживают и разливают по бутылкам.

[^^^]

Боа — крупная южноамериканская змея семейства удавов.

[^^^]

Посажёная мать. — При отсутствии родителей в свадебном обряде их заменяли посажёные отец и мать. Как правило, на такую роль приглашали людей именитых, уважаемых.

[^^^]

... босиком, но в черевичках... — То есть в башмаках на босу ногу.

[^^^]

Карачун — быстрая, неожиданная смерть от сердечного удара.

[^^^]

... в крепость возьмёт. — То есть сделает своими крепостными.

[^^^]

Пострел — апоплексия, удар, кондрашка.

[^^^]

... «Жизнеописания великих мужей» Плутарха (чьего перевода, теперь не припомню). — Знаменитое сочинение древнегреческого философа «Сравнительные жизнеописания», построенное на параллельных биографиях греков и римлян (Александр Великий — Юлий Цезарь, Демосфен — Цицерон). Главное достоинство «Жизнеописаний» в их поучительном содержании и гуманном чувстве автора. Первый русский перевод «Жизнеописаний» появился в 1814 — 1821 гг. (С. Дистунис и др.), следующий — только в 1862 г. (под ред. М. Герье).

[^^^]

... на своих курульских креслах. — Курульное кресло — «официальный» стул высших римских магистратов: консулов, диктаторов. Кресло имело форму складного стула без спинки. Его носили всюду за его обладателем, так как, по римским обычаям, магистрат только сидя на нём мог творить суд и расправу, выслушивать просителей.

[^^^]

«Лучше простить десять виновных... Судья должен помнить, что он человек есть». — Знаменитый афоризм приписывают Екатерине II. На него ссылается в своём труде Г. И. Солнцев, подчёркивающий, что «судья при решении уголовного дела должен помнить человечество и что он сам человек есть». Многие положения учёного основаны на тексте «Наказа» Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового уложения 1767 г. (Солнцев Г. И. Российское уголовное право. / Под ред. Г. С. Фельдштейна. Ярославль, 1820. С. 106, 109).

[^^^]

...дело о зарезании насмерть медведем мужика... предоставил суду Божиему. — При отсутствии улик приговоры заключались фразой: «Как такой-то NN в возводимом на него преступлении ничем не доказан и не обличён, но имеется в том на него подозрение, то, избавив его, NN, от суда и следствия, оставить только в подозрении и дело сие предать суду Божию, пока само собою откроется» (Солнцев Г. И. Российское уголовное право... С. 56).

[^^^]

Дышло — толстая оглобля, прикрепляемая к середине передней оси повозки. Примечательна в этом случае пословица: «Закон что дышло, куда повернёшь, туда и вышло».

[^^^]

... жиденський олешиник. — Олешаник, поросли ольхи.

[^^^]

На новых выборах Подсохин был единодушно избран в судьи. — «Учреждением о губерниях» (1775) все судебные места делились на 3 инстанции: низшую (уездные суды для дворян, магистраты для городских обывателей), среднюю (губернские магистраты), высшую (палаты гражданского и уголовного суда). В уездных судах и городских магистратах заседали выборные судьи от сословий.

[^^^]

... знаю и теперь в той же губернии такой же экземпляр... Честь ему и месту, где он воспитывался!... — Лажечников мог иметь в виду своего тверского знакомого Алексея Михайловича Унковского (1828 — 1893), юриста и общественного деятеля. Выпускник Московского университета, Унковский поначалу служил в престижном архиве министерства иностранных дел, однако вышел в отставку и поселился в своём тверском имении. Был избран на должность уездного судьи, где активно боролся со взяточничеством и злоупотреблениями. Задолго до реформы 1861 г. Унковский стал инициатором освобождения крестьян Тверской губернии, настаивая также на введении земского самоуправления и гласного суда, что представлялось в то время слишком смелым. За свою инициативу Унковский поначалу получил выговор и был подвергнут полицейскому надзору, а позже удалён от должности предводителя и сослан в Вятку. После отмены крепостного права Унковский занялся адвокатской деятельностью, причём

вёл процессы по недоразумениям между крестьянами и помещиками, успешно отстаивая интересы крестьян. Многие черты Унковского Лажечников подарил Подсохину. На формирование образа уездного предводителя и других «возвышенных уродов» могла повлиять дружба Лажечникова с ещё одним замечательным человеком — А. К. Жизневским (1819 — 1896), управляющим тверской казённой палатой.

[^^^]

... правда и милость утвердятся в судах по слову помазанника Божия! — Лажечников цитирует слова из Манифеста Александра II при восшествии на престол 19 марта 1856 г.: «Правда и милость да царствуют в судах».

[^^^]

... действовал он, как и прежде, обращая главные свои попечения на опеки. — Опека — учреждения и лица, занимающиеся юридической защитой личности и имущества лишённых дееспособности граждан (например, сирот), разорённых или оставшихся без хозяина имений. Имение можно было заложить в Опекунский совет и получить ссуду, на которую и существовали помещики. Если проценты не уплачивались в срок, имение продавалось с аукциона. Организация дворянской опеки, которой занимался Подсохин, была далека от совершенства, чем нередко пользовались нечистые на руку люди. Назначение опекунов, контроль над опекой зависели исключительно от предводителя уездного дворянства, его личных качеств.

[^^^]

Витiя — оратор, красноречивый человек.

[^^^]

... тут являлся перед ним, как тень Гамлету
... — Завязка трагедии У. Шекспира «Гамлет»:
принц видит призрак отца, который призывает сына отомстить за его смерть.

[^^^]

Адрес — речь на бумаге от имени места,словия, общества.

[^^^]

Лакосез — искажённое от экосез, названия бального танца, распространённого в XVIII — начале XIX вв.

[^^^]

Вольтерьянец — вольнодумец, последователь французского просветителя Вольтера; в XVIII — начале XIX вв. употреблялось как ругательство.

[^^^]

Панегирист — неумеренный хвалитель, восторженный поклонник кого-либо, слагающий в его честь панегирики.

[^^^]

*... и кочующие номады, и высоты бездны, и по-
чиющая на крыльях бури тишина. — Харак-
терные обороты велеречивости. Номады —
это и есть кочующие народы, потому прила-
гательное здесь излишне; два других словосо-
четания — образчик бессмысленного оксюмо-
рона.*

[^^^]

Мм. 22. — Сокращённое обращение «милостивые государи».

[^^^]

Блаженни милостивии... — Цитата из Нагорной проповеди Христа (Мф 5:7)

[^^^]

Капище — языческое культовое сооружение.

[^^^]

Esprit fort– вольнодумец (франц.)

[^^^]

Юпитер — верховный бог у древних римлян, аналог Зевса.

[^^^]

Олимп — в древнегреческой мифологии — священная гора, обителище богов.

[^^^]

Если бы Барнум жил в то время, он откупил бы их. — Финеас Тейлор Барнум (1810 — 1891) — известный американский антрепренёр, сколотивший состояние на демонстрации публике диковинок вроде няни президента Вашингтона, мумии русалки, мальчика-волка и т.п. Самым успешным предприятием Барнума была организация гастролей «шведского соловья» — оперной певицы Дженни Линд, на которых он заработал более полумиллиона долларов. Перевод автобиографии Барнума был напечатан «Отечественными записками» в 1855 г.

[^^^]

Эволюция — военные, тактические и стратегические движения армии или флота. Морские эволюции или построения составляли важнейшую часть морской тактики.

[^^^]

Бостон — коммерческая карточная игра, изобретённая англичанами и весьма популярная в России после виста. Игру вчетвером двумя колодами по 52 карты.

[^^^]

Цицероновская тога. — Марк Тулий Цицерон (106 — 43 до н.э.) — древнеримский политик, философ и блестящий оратор. Тога — верхняя одежда в Древнем Риме, отличалась красивыми драпировками.

[^^^]

Соляной пристав — чиновник, который следил за соблюдением порядка в торговле солью от казны. В начале XVIII в. Пётр I ввёл государственную монополию на производство и торговлю солью. В 1740 г. была учреждена Главная соляная контора, заведовавшая государственным заготовлением и продажей соли. Местными органами были соляные комиссарства, конторы и правления. В описываемое время в Коломне числился «соляной магазин, при коем каменная палатка, где хранится соляного пристава, до семидневного взносу в уездное казначейство, денежная казна» (Чеботарёв Х. А. Историческое...описание городов Московской губернии...С. 353).

[^^^]

На самом высоком месте берега Холодянки... стоял деревянный домик. — Дом соляного пристава находится недалеко от впадения Коломенки (Холодянки) в Москву-реку (М-у) в десятке метров от полуразвалившихся Косых ворот кремля, то есть рядом с «Блюдечком». Это дом на углу улиц Успенской (ныне Лазарева) и Брусенской (ныне Лажечникова), скорее всего, дом 17 по ул. Лажечникова.

[^^^]

... *многозначащие глаголы Фемиды... городничий и кавалер и т. п.* — Глаголы Фемиды — решения судебных инстанций (Фемида — в греческой мифологии богиня правосудия). Далее перечислены типовые формулы канцелярского жаргона. *Кавалер* — пожалованный орденом.

[^^^]

... кусты сирени, пионов и жёлтого шиповника. — Сирень и пионы появились в России в XVIII в. и для скромного уездного сада были большой редкостью.

[^^^]

Прямо из лугов выбегает широкая река... и вдруг... поворачивает углом под плавучий мост, через неё перекинутый. — Пространство, описанное Лажечниковым, узнаваемо и сегодня: река Москва поворачивает углом под Тайницкой башней (ко времени Лажечникова уже развалившейся) и далее течёт вдоль кремлёвской стены (тогда в основном сохранившейся) до наугольной Свибловой башни, бывшей ещё при Лажечникове. Наплавной мост, в XVIII в. называемый «живым», сохранил своё местоположение до наших дней.

[^^^]

Берега осыпаны роями лошадей... — Описано движение судов на конной тяге.

[^^^]

... в блестящем кокошнике и в малиновой штофной душегрейке... — Кокошник — праздничный женский головной убор, душегрейка (душегрея) — нагрудная женская одежда на лямках. В XVIII — XIX вв. кокошник и душегрею носили состоятельные горожанки — помещанки и купчихи.

[^^^]

... к сосновому лесу прижалась белая ограда монастыря, и среди неё высится разноцветная купа церквей... — Богородице-Рождественский Бобренев монастырь в нём две церкви — Рождества Богородицы (храм и колокольня) и Входиерусалимская. Ограда была выстроена в 1790 г., как и собор Рождества Богородицы (на месте своего предшественника). Лажечников видел ограду примерно такую, какую её видим мы, но вот собор в 1830 г. был полностью перестроен. На месте Входиерусалимской церкви, которую видел Лажечников, в 1861 г. выстроена ныне существующая Фёдоровская.

[^^^]

... выползает из-за горки деревушка... — Деревня Бобренево (варианты её названия в XVIII в. — Бобрухина, в XIX — Бобриха).

[^^^]

... Мимо башни влево спускается широкая дорога... Здесь идёт почтовый губернский тракт... — От Косых ворот дорога шла примерно так же, где она проходит ныне (только чуть ближе к реке) по ул. Лазарева и в продолжение её мимо Маринкиной башни до московской дороги («почтового губернского тракта») и моста «на сваях» через Коломенку.

[^^^]

Через реку, ещё левее, видны, как на блюдечке, Запрудье, деревни — самыми ближними к Коломне деревнями были Городищи, Подлипки, Сандыри (ныне в черте города).

[^^^]

... из вступления во «Всеобщую историю» Шрекке... — Книга немецкого историка И. М. Шрекке (1733 — 1808) «Древняя и новая всеобщая история, сочинённая И. М. Шрекком для обучения юношества», которая была учебником истории в XVIII — первой половине XIX вв. и неоднократно переиздавалась.

[^^^]

... *целой фаланги лиц...* — У древних греков — сомкнутый строй пехоты.

[^^^]

Майор — армейский чин VIII класса по «Табели о рангах», как правило, соответствовал должности командира батальона.

[^^^]

Кадетский корпус — военное учебное заведение, первое из которых было открыто в 1743 г. Цель его — «доставлять малолетним, предназначенным к военной службе в офицерском звании и, преимущественно, сыновьям заслуженных офицеров, общее образование и соответствующее их предназначению воспитание».

[^^^]

Будь честен... Честь всё равно что девичья слава: не возвратишь, потеряв её однажды. — Ср. наставление отца Петруши Гринёва в «Капитанской дочке» А. С. Пушкина: «Служи верно, кому присягнёшь; слушайся начальников; за их лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; от службы не отговаривайся; и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду».

[^^^]

Семья людей — семья слуг.

[^^^]

... делал несколько походов и уже в штабс-капитанском чине, в турецкую войну, получил в ногу рану... — Штабс-капитан — армейский чин X класса по «Табели о рангах», соответствовал должности командира роты и эскадрона. Турецкая война — первая война Екатерины II с Османской империей 1768 — 1774 гг.

[^^^]

... во время квартирования его роты в Нежине, женился на дочери одного тамошнего грека
... — Нежин — город в Черниговской губернии на Украине. Греки-купцы появились в Нежине ещё в середине XVII в. При гетмане Мазепе они образовали «греческое церковное братство». К концу XVIII в. они составляли 1/10 часть городского населения.

[^^^]

Гвардия — отборное войско, приближённое к императору. Возникла при Петре I из Преображенского и Семёновского полков. По «Табели о рангах» чины в гвардии считались на 2 класса выше, чем в армии (например, чин поручика в гвардии был равен чину капитана в армии).

[^^^]

... *приютит дочь в институт под покров самой императрицы...* — Речь идёт о Смольном институте благородных девиц — первом в России женском учебном заведении. Основан в 1764 г. по указу Екатерины II для воспитания и образования дворянок и находился под её патронатом. В программу входило обучение Закону Божию, словесности, истории, географии, иностранным языкам, музыке, танцам, рисованию, рукоделию, светским манерам. Закрытый характер заведения, оторванность обучения и воспитания от реальной жизни придали со временем слову «институтка» (выпускница Смольного) иронический смысл.

[^^^]

Нельзя сказать, что он совершил это путешествие на долгих... — В то время существовало два способа передвижения — езда на перекладных (казённых) лошадях и на своих (на долгих). В последнем случае лошадей на почтовой станции не меняли, а давали им отдохнуть, не ездили и по ночам. Такая езда (при средней скорости 10 вёрст в час) от Коломны до Петербурга могла занять не менее недели.

[^^^]

... списывает Брюллова картину. — Карл Павлович Брюллов (1799 — 1852), автор исторического шедевра «Последний день Помпеи» (1833).

[^^^]

... *пожури*в его за аркадскую простоту. — Аркадия — центральная часть Пелопоннеса. В литературе XVII — XVIII веков изображалась как страна, где протекает идиллическая, счастливая жизнь, наивная и безмятежная.

[^^^]

Камуфлет — неожиданная неприятность.

[^^^]

Приказный люд — мелкие канцелярские служащие.

[^^^]

... *иезуит, надо быть, или фискал.* — Иезуит — хитрый, двуличный человек; *фискал* — ябедник, доносчик.

[^^^]

Стряпчий — ходатай по делам.

[^^^]

Бабки — старая русская игра с использованием надкопытной говяжьей кости. Бабки ставят на кон гнёздами (парами).

[^^^]

... *нахватал фармазонской науки*. — Франкмасонство (масонство) — религиозно-этическое движение «вольных каменщиков», возникшее в начале XVIII века в Великобритании; затем распространилось по всей Европе. Цель масонства — создание тайной организации с целью мирного объединения человечества в едином религиозном союзе. В России слова «фармазон», «фармазонство» стали синонимами вольнодумства (см. в «Евгении Онегине»: «Сосед наш неуч, сумасбродит;/ Он фармазон; он пьёт одно/ Стаканом красное вино»).

[^^^]

Пшеницын горячо обнял соляного пристава, даже с уважением поцеловал его в плечо... — Жест многозначительный: как правило, в плечо целовали своих господ слуги.

[^^^]

Филемон и Бавкида — благочестивая супружеская пара из Фригии, герои античного мифа. В награду за радушие и гостеприимство Зевс, посетивший супругов в облике простого странника, исполнил их желание: быть его жрецами и умереть в один день и час. После смерти Филемон и Бавкида были превращены в дуб и липу, растущие из одного корня.

[^^^]

... пара из щегольского английского сукна... — Сюртучная или фрачная пара (фрак и панталоны) из тонкой шерстяной ткани. Английское сукно (сукно-лундыш, т.е. из Лондона) было известно в России ещё с XVI в.

[^^^]

Двунадесятые праздники — двенадцать важнейших после Пасхи праздников в православии; посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы (например, Рождество Христово, Крещение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы, День Святой Троицы, Успение Богородицы и др.)

[^^^]

ричард ты мой возлюбленный... — Англизированное имя верного слуги короля Гвидона Личарды из русской сказки про Бову-королевича.

[^^^]

Адмиральский час — время закусить. Изначально — корабельный термин, означавший предобеденный перерыв в 11 часов, который объявлялся ежедневно на флоте и в Адмиралтейств-коллегии, чтобы матросы и офицеры могли «выпить и закусить» перед обедом. Был введён Петром I.

[^^^]

Не в нахлебники же идти! Хоть щей горшок, да сам большой. — В нахлебники к состоятельным помещикам поступали обедневшие дворяне. Горлицын ссылается на народную мудрость: бедный стол, зато сам себе хозяин в доме.

[^^^]

Фунт — старинная русская мера веса, равная 409,5 г

[^^^]

... таскать своих девок за волосы, намаженные коровьим маслом. — Коровье масло у простонародья выполняло функцию косметики для волос. Так добивались гладкости и лоска прически.

[^^^]

Прóтори — издержки, расходы, в том числе траты судебные, по тяжбам.

[^^^]

Подгородная деревня — расположенная в окрестностях города.

[^^^]

Гарничик — гарнец или осьмушка, русская мера объёма сыпучих тел (ржи, овса, муки и т.п.), равная 3,28 л.

[^^^]

... с новотёла корову... сынка его под красную шапку... — Новотёл — время после недавнего отёла. Под красную шапку — то есть отдать в солдаты.

[^^^]

Пустошь — незаселённая земля, заброшенные поля, покосы из-под пашен.

[^^^]

... лесовик закружит.. так что столбняк нападёт. — По народному поверью, лесовик (леший), дух леса в славянской мифологии, нередко сбивает путника с дороги и кружит по лесу до полного изнеможения.

[^^^]

Урочище — естественный межевой признак, будь то холм, овраг, лес и т.п.

[^^^]

Курьер — служащий в учреждении, разносящий деловые бумаги, посыльный.

[^^^]

Межевой — землемер, межевщик.

[^^^]

Палестина — равнина, поляна.

[^^^]

Кудель — волокнистая часть вычесанного льна, пеньки, свёрток избитой шерсти, предназначенные для пряжи.

[^^^]

... колос-то... с добрую четверть... — Четверть
аршина или одна пядь — 17,78 см

[^^^]

Поколенная роспись — родословная.

[^^^]

Оброчная деревня — Вся деревня платила помещику денежный оброк. Как видно, традиция оценки «реформ» Онегина в деревне как передовых («Ярем он барщины старинной / Оброком лёгким заменил») не совсем обоснованна: крестьяне перестают пахать и сеять на барских землях, поместье приходит в упадок, а там недалеко и до публичных торгов (см.: Черемисинов Г. А. Оброк // Онегинская энциклопедия: В 2 т. М., 2004. Т. 2. С. 198 — 202).

[^^^]

Десятина — старая русская мера земельной площади, равная 2400 кв. саженьям или 1,09 га.

[^^^]

Луга её травили чужие крестьяне... её скот пользовался кормом на соседних паствах... и в чужом хлебе. — Травить луга, равно как и хлеб (посевы пшеницы, ржи и т.п.) — пустить туда скотину (луг предназначался для заготовки сена, хлебное поле — для получения зерна); *паства* — пастбище, угодья, специально предназначенные для кормления скота летом.

[^^^]

Колотырка — по Далю, вздорная, злая баба.
Мотовка — расточительница.

[^^^]

... всё имущество её было заложено и перезаложено. — Перезаложить имущество значило заложить его вторично до окончания срока первого залога. Процент вноса кредитные учреждения увеличивали вдвое.

[^^^]

Когда она жила в деревне... объявляли, что обретается в Холодне. — Объявления о приехавших в город или губернию публиковались на последней странице местной газеты.

[^^^]

Филиппика — грозная обвинительная речь, по имени врага афинской демократии Филиппа Македонского, которого разоблачил в своих речах афинский оратор Демосфен.

[^^^]

Синклит — в Древней Греции собрание высших сановников, в ироническом значении — сборище.

[^^^]

Городническое правление — собственно учреждение, где находился городничий; после реформы полиции в 1862 г. переименовано в полицейское управление.

[^^^]

Присутственные места — городническое правление, магистрат, казначейство, дворянская опека, уездный суд и т.п. В Коломне некоторые из них располагались на Брусенской улице (ныне Лажечникова).

[^^^]

Гербовая бумага — на гербовой бумаге (с изображением российского герба) оформлялись сделки, прошения, доверенности, завещания и т.п. В конце XVIII — начале XIX века использовалась гербовая бумага стоимостью от четырёх копеек до четырёх рублей. Гербовый сбор был одной из государственных пошлин.

[^^^]

Челядинцы — прислуга, работники, дворовые люди.

[^^^]

Облучок — грядка на телеге, повозке, санях, боковой край кузова. На облучке сидели боком, свесив ноги.

[^^^]

... спрашивала о ней нередко государыня. — С 1797 г. Смольный институт находился под покровительством императрицы Марии Фёдоровны, жены Павла I.

[^^^]

Петров день — праздник святых апостолов Петра и Павла (29 июня по старому стилю). С Петрова дня красное лето, зелёный покос.

[^^^]

... живописные места, увенчанные Мячковским курганом. — Древний Мячковский (Боровский) курган находится на берегу Москва-реки в районе с. Чулкова в километре от нынешнего автомобильного моста. Во времена Лажечникова рядом проходил Боровский перевоз (по названию Боровского Пафнутьева монастыря). Второе своё название курган получил благодаря селу Мячкову, расположенному поблизости. Лажечников подарил героине повести свои впечатления от легендарной местности: «...Всё восхищало меня: и светлая в извилинах Москва-река, многочисленными судами покрытая, и селения, на живописных её берегах расположенные, и расписные пёстрые луга с озёрами своими... Любил по целым часам взорами и сердцем бродить с возвышений, одетых цветными коврами, на пригорки, далеко золото жатв разливающие...» (Лажечников И. И. Походные записки русского офицера. СПб., 1820. С. 4). Первым сочинением юного Лажечникова, по его воспоминаниям, было именно описание этого

места, уже прославленного А. Ф. Мерзляковым в стихотворении «Мячковский курган» (1805).

[^^^]

Бричка — лёгкая полуоткрытая повозка с верхом. В России появилась только в начале XIX в., потому для провинциалов рубежа веков это был экипаж щегольской, особенно если бричка рессорная, со ступеньками, шторками и откидным кожаным верхом.

[^^^]

Картуз — мужской головной убор с козырьком, который носили деревенские помещики, отставные чиновники, управляющие.

[^^^]

*...на гравюре, изображающей Петра Великого
... во время морской бури. — Действительно,
такая гравюра существует: это «Пётр I в
шторм на Ладоге» (1810) неизвестного фран-
цузского художника.*

[^^^]

Приехали в Б-цы... Лучший постоялый двор находился на главной улице. — По-видимому, в 1790-х гг. в Бронницах это была улица Дворянская (нынешняя Советская).

[^^^]

Камердинер — слуга при господине в богатом дворянском доме.

[^^^]

... выпили несколько пар чайку... — В.И. Даль поясняет: выражение московское, «в харчевне порция чаю, засыпка, одна заварка с сахаром вприкуску». Более поздняя вариация «пары чаю» — это два чайника, большой с кипятком и маленький с заваркой, который служил крышкой для большого.

[^^^]

... *под счастливой планидой.* — Под счастливой звездой. Планида (планета) — судьба.

[^^^]

... из куля да в рогожу. — Вся соль пословицы заключается в том, что кули шьют как раз из рогожи.

[^^^]

Овин — строение для сушки хлеба в снопах; крестьянский овин рассчитан был на 800 — 1000 снопов.

[^^^]

Чичероне — итал. *cicerone*, экскурсовод.

[^^^]

...он выписывает иностранца учителя для своего сына... он хочет дать ему отличное воспитание. — Лажечников вспоминал: «Когда мне минуло 6 лет, взяли к нам в дом гувернёра Monsieur Beau lieu, французского эмигранта, не походившего на своих собратьев-проходимцев. Он получил образование в Страсбургском университете, знал основательно французский и немецкий языки, на русском изъяснялся чисто, но учёным нельзя было его назвать. К нам в дом поступил он, кончив воспитание детей в доме князей Оболенских, по рекомендации знаменитого подвижника русского просвещения в России Новикова, которому, сколько могу сообразить, был брат по масонству. Всегда неукоризненно одетый во французский кафтан коричневого цвета, с косою и бантом за плечами, являлся он к общему столу и учению. Манеры его были просты, но изобличали в нём дворянина дореспубликанских времён, доброту, не доходившую, однако ж, до слабости» (Празднование юбилея 50-летней литературной деятель-

ности И. И. Лажечникова. С. 13).

[^^^]

Ипохондрик — человек, страдающий угнетённым состоянием, болезненной мнительностью.

[^^^]

... о морских сражениях под начальством Чесменского и Ушакова... — Граф А. Г. Орлов стал именоваться Чесменским после победы в Чесменском бою 1770 г. в ходе русско-турецкой войны 1768 — 1774 гг., когда он командовал объединёнными российскими эскадрами. Адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков (1745 — 1817) — выдающийся русский флотоводец, участник русско-турецких войн 1768 — 1774 гг. и 1787 — 1791 гг. В ходе последней Ушаков применил новую тактику манёвренного морского боя, что позволило одержать ряд блестящих побед над турецким флотом.

[^^^]

...путешествия на богомолье в ближайшие монастыри... — Ближайшими для героев повести могли быть Брусенский Успенский монастырь и Богородице-Рождественский Бобренев монастырь.

[^^^]

Бог знает, чего тут не прибрави. — В значении «приврали». Словарь Даля отмечает это слово как свойственное Тверской губернии.

[^^^]

... в одном из подмосковных губернских городов... — Подмосковный губернский город — в данном случае центральный город одной из ближайших к Москве губерний, например, Тверь.

[^^^]

Ныне прозвали бы его львом. В то время почли бы такое прозвание слишком низким... — По наблюдениям В. В. Виноградова, слово «лев» в значении «законодатель мод, правил светского поведения, покоритель женских сердец» стало употребляться в русском языке во второй половине 30-х гг. XIX в. Для примера лингвист ссылается на ряд литературных произведений, в частности на повесть И. И. Панаева «Онагр» (1841): «Всем и каждому известно, что цари высшего парижского общества... теперь носят страшные имена львов. Всем также известно, что мы, русские, имеем претензию на европейскую внешность, что мы с изумительной быстротою перенимаем все парижские и лондонские странности и прихоти. Вследствие этого, у нас были некогда денди и фешенебли, теперь у нас есть и ЛЬВЫ».

[^^^]

... не поднесёт ли счастливейшей из них Парис-Волгин золотого яблока... — По древнегреческому мифу, Парис разрешил спор трёх богинь Геры, Афины и Афродиты о том, кто из них прекраснейшая, поднеся золотое яблоко Афродите. В благодарность богиня любви помогла Парису похитить Елену, жену спартанского царя Менелая, что стало причиной Троянской войны.

[^^^]

... не одна неутешная Калипсо... у берегов её очаровательных владений. — В древнегреческой мифологии Калипсо — нимфа, хозяйка острова Огигия, у берегов которого потерпел кораблекрушение Одиссей. Нимфа мечтала соединиться с Одиссеем навсегда, обещая взамен бессмертие, однако вынуждена была спустя семь лет отпустить его на родину.

[^^^]

Фант. — Слово означает «залог, выкуп». Игрою в фанты можно назвать любую игру, в которой за ошибку против правил платят фант с последующим его выкупом. Фанты на святки были настолько популярны, что в них играла сама Екатерина II. «Кем придуманы фанты? — верно не стариками и не людьми флегматического характера... Вот охает роза: у неё болит сердце по жгучей крапиве; лилея вздыхает по чертополохе; или продают ленты, или поставят статую и приложат руку её к сердцу, — понимайте, что это значит! или представят зеркало. А как начнут мост мостить: играющие совьются венком, заплетутся плетнём; поцелуи посыплются градом... А разыгрыванье фантов тоже раздолье для молодёжи» (Любецкий С. Московские старинные и новые гулянья и увеселения // Москвитянин, 1855).

[^^^]

*... как ныне спорят за честь и удовольствие
иметь у себя в доме сева­стопольских героев.*
— Речь идёт о современниках Лажечнико-
ва — участниках героической обороны Сева-
стополя (1854 — 1855) в ходе Крымской войны
1853 — 1856 гг.

[^^^]

В менуэте a lareine это был настоящий Аполлон... исполнял его в башмаках с стразовыми пряжками и шёлковых чулках... — Менуэт a la reine — «королевский» менуэт, ставший придворным танцем при Людовике XIV. В России известен с петровских времён. Сравнение Волгина с греческим богом Аполлоном говорит о красоте движений, изяществе и галантности танцора, главных качествах в менуэте. *Никто так грациозно не вёл своей дамы в польках* — явный анахронизм, поскольку полька появилась только в середине XIX в., и Лажечников, очевидно, под полькой подразумевает *полонез* (польский) — торжественный танец-шествие в начале бала. *Контрданс* — старинный английский танец. Допускал любое количество танцующих пар, отличался живостью и универсальностью, что породило множество разновидностей контрданса, известных и в России («Данила Купор», котильон). *Антраша* — танцевальное па, прыжок, при котором танцующий быстро ударяет ногою о ногу. *Шассе battu* — прыжок с продвиже-

нием, при котором одна нога как бы догоняет другую. *Казачок* — живой, весёлый народный танец импровизационного характера. В начале XIX в. стал бальным танцем. *Исполнял его в башмаках...* — Требования моды предписывали офицерам являться на бал в парадном обмундировании, а для танцев обязательно надевать бальные туфли.

[^^^]

Никого так часто не поднимали со стула в изгру соседа и не требовал к себе оракул... чем сильнее бьёшь, тем сильнее любишь. — Лажечников называет здесь самые популярные святочные игры того времени. Игра «Соседи» состояла в следующем. Все рассаживаются парами, одному из играющих ведущий задаёт вопрос: «Вы довольны своим соседом?» Если следовал ответ «нет», недовольный должен был назвать того, кого он хочет иметь соседом. Играющие меняются соседями и т.д. Всеобщая суматоха возникала, когда один из соседей заявлял: «Недоволен всей деревней». «Любимую форму разыгрывания фанта составляет: *быть оракулом*, — пишет один из современников Лажечникова. — Обречённый садится на стул и покрывается большим толстым платком. Желаящие услышать от него предсказание подходят и безмолвно касаются до головы его пальцами. Само собою разумеется, что оракул не может сказать правды и возбуждает общий весёлый смех. В разыгрывании фантов не всегда соблюдается совер-

шенное беспристрастие; напротив, более замысловатые и трудные для выполнения, как, например, оракул, назначаются большей частью самым искусным и ловким из кавалеров» (Потехин А. Забавы и удовольствия в городке // Современник, 1852. № 7). *Игра в жгуты* относилась к разряду подвижных. В круг выходят два играющих, один с колокольчиком, другой со жгутом (платок, свитый верёвкой), у обоих завязаны глаза. Играющий с колокольчиком звонит и перебегает с места на место, тот, что со жгутом, должен его догнать и ударить.

[^^^]

... *Гликерия, по календарю...* — Имеется в виду часть календаря (месяцеслова) — святцы, по которым и определяли имя новорождённого.

[^^^]

Сандрильона — Золушка.

[^^^]

Анфилада — длинный сквозной ряд комнат, традиционная планировка дворянского дома, царского дворца.

[^^^]

... много серебра и все другие предметы роскоши... — В тексте, опубликованном в «Русском вестнике», — «дорогие предметы роскоши».

[^^^]

Кузина — двоюродная сестра.

[^^^]

Шафранный — жёлто-оранжевый, с коричневым оттенком.

[^^^]

Стоокий аргус. — Говорят о всевидящем, подозрительном, неусыпно следящим за кем-либо человеке. Аргус, стоглазый великан древнегреческих мифов, был стражем при Ио, превращённой Зевсом в корову и подаренной им ревнивой Гере. После гибели Аргуса Гера перенесла его глаза на хвост павлина.

[^^^]

Капор — женская стёганая шапка с завязками.

[^^^]

... начал дело о разводе... в высшей должно было скоро решиться так же благоприятно для него. — До 1917 г. в Русской Православной Церкви существовали две инстанции духовного суда — суд епархиальный (низшая инстанция) и суд Святейшего Синода (высшая инстанция). Епархиальный суд, в частности, занимался делами о прекращении и расторжении брака, после чего решение низшей инстанции должен был утвердить Святейший Синод. Дело Волгина могло подходить под определение «наличие добрачной болезни, препятствующей супружеским отношениям».

[^^^]

Вскоре после того в Холодню пришёл пехотный полк. — В конце XVIII века в Коломне долгое время стоял Невский пехотный полк.

[^^^]

... развевающиеся знамёна, изувеченные в славных екатерининских битвах... — Имеются в виду русско-турецкие войны 1768 — 1774 и 1787 — 1791 гг.

[^^^]

Эпантон — существовал как офицерское оружие до 1807 г. Состоял из фигурного пера и длинного древка. Использовался не только как парадное оружие, но и в качестве ориентира при построении и марше.

[^^^]

Толпа дивилась треугольным шляпам на офицерах и солдатах, пучкам их и пуклям, красным отворотам... — В конце XVIII в. обмундирование пехоты состояло из треугольной шерстяной шляпы с золотой обшивкой, зелёного кафтана с красным подбоем и красным воротником, камзола и штанов белого цвета, чёрных штиблет с чулками на двенадцати пуговицах. Павловские времена выдаёт такая деталь, как напудренные букли и косы уставной длины.

[^^^]

Во время вечерней зари весь город стекался около гауптвахты. Это был настоящий праздник... — «Большая вечерняя заря» (зóря) — торжественный воинский ритуал. В царствование Павла I он состоял из следующих частей: 1) «Повестка», исполняемая флейтистами и барабанщиками, 2) сигнал «К заре», 3) «Заря» Д. Бортнянского, исполняемая оркестром, 4) «Перекличка» полков и батальонов, 5) сигнал «К молитве» (шапки долой!), исполняемый флейтой и барабаном, 6) молитва «Коль славен», исполнялась оркестром, певчими и всеми присутствующими, 7) сигнал «Окончить молитву» (шапки надеть!). В таком виде ритуал «Зари» просуществовал до 1836 г., когда в него добавлен был гимн «Боже, Царя храни!». Здание бывшей коломенской гауптвахты (главного караульного помещения) находится на ул. Зайцева (бывшей Владимирской), 48.

В это самое время вставала для этих рыцарей новая звезда... Это была Прасковья Михайловна Пшеницына. — Вспоминая имение своего отца Кривякино в 23 верстах от Коломны (ныне в черте г. Воскресенска Московской области), Лажечников отмечал «радушие, ум, любезность хозяина и красоту хозяйки, истовой красавицы своего времени. Офицеры Екатеринбургского кирасирского полка, стоявшего в окрестности, толпились каждый день у гостеприимного амфитриона» (Празднование юбилея 50-летней литературной деятельности И. И. Лажечникова. С. 12).

[^^^]

Куль — рогожный мешок и наиболее крупная мера разных сыпучих тел в торговле того времени. Куль соли вмещал от 3 до 5 пудов (примерно 50 — 90 кг).

[^^^]

Соляной магазин — помещение для хранения соли, а также лавка оптовой торговли солью.

[^^^]

Пуд — старинная русская мера веса, равная 16,38 кг.

[^^^]

... изречение Франциска I после поражения под Павией: *всё потеряно, кроме чести!* — Франциск I, французский король (1515 — 1547), в ходе Итальянских войн с императором Карлом V потерпел поражение в битве при Павии (Италия) 25 февраля 1525 г. Французы были разбиты, а король взят в плен.

[^^^]

... год жизни за осьмушку чаю, за фунт сахара!
— Осьмушка — восьмая часть фунта, примерно 50 граммов. Значение чая в жизни мелкого чиновника таково, что он становится гранью, отделяющей бедность от нищеты. Это выразил ещё Ф. М. Достоевский устами своего героя Макара Алексеевича Девушкина из романа «Бедные люди»: «Чаю не пить как-то стыдно... Ради чужих и пьёшь его... для вида, для тона...».

[^^^]

... старый инвалид, приставленный к соляному магазину... — Назывался магазинв́ахтером и являлся смотрителем казённого магазина. Просторечное название инвалидного солдата — магазейная крыса.

[^^^]

Усышка — состояние по глаголу «усыхать» (В. И. Даль).

[^^^]

Картечь — крупная дробь для охотничьих ружей.

[^^^]

... ходила в соборную церковь, которая была в нескольких шагах от их дома. — Скорее всего, это Тихвинская соборная церковь 1776 г.

[^^^]

... не преминул поцеловать её ножку. — В тексте, опубликованном в «Русском вестнике», — «эту ножку».

[^^^]

... *переехал к дочери в новую деревню её мужа*
... — Скорее всего, Лажечников подразумевает имение Кривякино, принадлежавшее отцу (см. комментарий к стр. 301). Сюда писатель вернулся уже в качестве гостя в 1854 г. Можно предположить, что именно здесь, в семье старшего брата (ставшего хозяином имения) зародился замысел автобиографической повести «Беленькие, чёрненькие и серенькие». В письме к А. К. Жизневскому Лажечников поделился своими впечатлениями: «Имение прекрасное, живописно расположенное на Москве-реке. В нём я провёл своё детство и юность. Чудные воспоминания об этом времени, прекрасный сад, дети, шумящие около меня, как пчелиный рой... сделали для меня пребывание в этом сельском убежище земным раем» (Жизневский А. К. Памяти И. И. Лажечникова. Тверь, 1895. С. 21).

[^^^]

... прекрасная улыбка, одушевлявшая лицо старика. — В «Русском вестнике» — «старичка».

[^^^]

В «Семейной хронике» Аксакова... имела большое влияние на её образование. — Имеется в виду глава «Женитьба молодого Багрова» из «Семейной хроники» С. Т. Аксакова. Героиня Софья Николаевна находилась в переписке с А. Ф. Аничковым, приятельствующим с «известным Н. И. Новиковым». Они «присылали ей все замечательные сочинения в русской литературе, какие тогда появлялись, что очень много способствовало её образованию».

[^^^]

... он обильно сеял Божие семя... назван Новиков каким-то господином... — Лажечников вполне адекватно оценивает заслуги Н. И. Новикова, замечательного распространителя книжной культуры в России. Коломна была в числе первых шести провинциальных городов, оказавшихся в сфере влияния его книгоиздательской и книготорговой сети. Уже в 1779 г. комиссионером Новикова в Коломне был купец Н. С. Степанов. Однако Екатерина II признала вредной деятельность Новикова, одного из руководителей русского масонства, и он был заключён в Шлиссельбургскую крепость, откуда вызволен лишь новым царём Павлом I. Вероятно, эти обстоятельства заставили Ивана Максимовича Пшеницына осторожно назвать Новикова «каким-то господином». Не исключено, что Лажечников намекает и на характерную забывчивость, неблагодарность российского образованного общества.

Сам внук... подтвердил мне всё это в 1836 году. — Внук князя-разбойника — это Иван Дмитриевич Козловский (1811 — 1867), кавалерийский офицер расквартированного в Твери полка, близкий знакомый проживавших там Ф. Н. Глинки, А. А. Шишкова, И. И. Лажечникова.

По воспоминаниям современника, «любил литературу и писал порядочные стихи». Был связан с А. С. Пушкиным как секундант его противника В. А. Соллогуба на предполагавшейся дуэли (1836).

[^^^]